

РОМАН-ГАЗЕТА

№ 9 (381) · 1967

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВ

КОГДА НАСТУПАЕТ РАССВЕТ

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВ

В суровом полночном краю, среди неоглядных таежных лесов, на берегах живописных рек Сысолы, Вычегды и Печоры живет и творит свои чудесные песни талантливый и трудолюбивый народ коми. Лет сто тому назад мало кому был известен затерявшийся в глубине угрюмой северной пармы и бескрайних просторов тундры этот малочисленный народ. До Великого Октября у коми не было своей письменности.

Тем радостнее сознавать теперь, как неузнаваемо преобразился коми край. И каждому понятна гордость, звучащая в словах поэта Серафима Попова о родной земле:

Кто не был в нашей стороне,
Не слышал никогда,
Как темный лес шумит во сне,
Как плещется вода.
Кто нашей не бродил тайгой,
Что „пармою" зовут,
Не знает, как в тиши ночной
Сказанья здесь плетут.

Одним из зачинателей молодой литературы коми является автор романа „Когда наступает рассвет" Геннадий Александрович Федоров. Родился он в 1909 году в селе Троицко-Печерске. Окончил в Сыктывкаре педагогический техникум, работал в детских домах, а затем в Коми книжном издательстве. Одновременно он заочно учился и закончил Литературный институт имени Горького в Москве.

На коми языке Г. Федоров начал писать в девятнадцать лет. Сначала он пробовал свои силы в стихах и рассказах и уже с 1928 года начал печатать их. Спустя четыре года он выступил с первой повестью „Деревенское утро", которую впоследствии значительно переработал. Теперь эта повесть имеет другое название — „Марийка" и пользуется большой любовью у читателей.

В годы Великой Отечественной войны, будучи уже признанным писателем, автором многих повестей, рассказов и пьес, Геннадий Федоров находился на фронте, командовал стрелковым взводом, защищая родину с оружием в руках. Под Пултуском он был ранен.

После войны, вернувшись в родные края, Геннадий Федоров возглавил писательскую организацию республики и одновременно продолжал творческую деятельность. Им написаны повесть „В дни войны" о нефтяниках Ухты, пьесы „Лес звенит", „В предгорьях Тимана".

Над романом „Когда наступает рассвет" писатель работал много лет. На коми языке роман был опубликован в 1962 году и отмечен республиканской премией. Это большое эпическое полотно, открывающее малоизвестную страницу революционного прошлого нашей страны. Увлекательно и живо отражена в книге борьба за победу Великой Октябрьской революции в отдаленном северном краю. Интересны страницы, рисующие быт и нравы населения этой когда-то глухой стороны.

Роман Г. Федорова посвящен героине гражданской войны Домне Каликовой. О ее подвиге сложены песни. На ее могиле возвышается обелиск. Писатель создал свой памятник — роман о яркой, подвижнической жизни молодой коммунистки.

Обычно в подобных книгах главным достоинством является документальность. Но если произведение создает подлинный художник, то документальность воедино сливается с художественностью. Домна Каликова точно живая встает со страниц романа, который дал ей вторую жизнь — бессмертие.

С большой любовью выписан автором образ деревенского батрака, красноармейца Прокопия Юркина. Судьбы двух молодых людей — Прони и Домны — тесно переплетаются. Их чистая, едва зарождавшаяся любовь подвергается тяжким испытаниям. Но хотя жизнь главной героини трагически обрывается, книга до конца пронизана оптимизмом. Образ отважной дочери народа коми становится достоянием всей советской литературы.

Время листает книгу жизни. Давно нет захолустного уездного городка Усть-Сысольска. На его месте вырос прекрасный город Сыктывкар, столица ордена Ленина республики Коми. Из Москвы теперь до него лёту — два часа. Парят над безбрежными просторами пармы воздушные лайнеры. И видно, как над зелеными массивами тайги и тундрой тянутся к небу нефтяные вышки и копры угольных шахт, бегут по дорогам машины и плывут по величавым рекам плоты. Труженики сурового северного края строят новую жизнь.

— Чолэм тебе, славный народ коми!

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ



№ 9 (381)
1967



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВ

КОГДА НАСТУПАЕТ РАССВЕТ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

У КРАСНОГО ЯРА

1

Накануне дня успенья около села Кочпон, на берегу живописной Сысолы, у Красного яра сидел человек с удочкой. Был он в ситцевой рубашке, в черных штанах, в сапогах с порыжелыми голенищами и в картузе, какой чаще всего носит мастеровой люд. Тут же рядом на песке лежал его аккуратно сложенный пиджачок.

Рыболову было лет около тридцати, но жизнь уже успела порядком его потрепать. Это чувствовалось и по плотно сжатым губам на сухощавом лице, и по преждевременным складкам на лбу. Об этом же говорил настороженный взгляд его умных, задумчиво-сосредоточенных глаз.

Пальцы его больших, сильных рук неловко насаживали извивающегося червяка на крючок. Опаленная кожа вокруг ногтей потрескалась и приобрела темный цвет, какой бывает у кузнецов.

Это был рабочий Василий Артемьевич Мартынов, один из политических ссыльных, каких царское правительство сотнями отправляло на далекий Север.

Августовское солнце, еще жаркое, освещало обмелевшую за лето реку, зеленые луга с видневшимися тут и там стогами свежескошенного сена.

Человек сидел неподвижно, задумчиво следя за неторопливой мелкой рябью.

Поплавок уже несколько раз скрывался под водой, но Мартынов не замечал этого. Может

быть, он вспоминал дом, родные места, Урал, детские годы, когда вот так же сидел с удочкой. Может, вспомнил суровый 1905 год, Мотовилихинский завод, где работал, забастовки, баррикады. А может, вспомнилась широкая сибирская река Енисей, где ему пришлось провести первые годы ссылки.

Скоро исполнится десять лет, как жизнь трясет его по ухабам этапных дорог огромной Российской империи. После вступления в РСДРП — активная революционная работа, арест, побег, затем снова партийная работа и опять ссылка... И вот он уже здесь, на Севере, среди народа коми, о существовании которого раньше и не подозревал, и кто мог сказать, куда судьба забросит его завтра...

У берега плеснулась рыба, и Мартынов словно очнулся. Он посмотрел на расходящиеся круги на воде, вынул часы вороненой стали, взглянул на них и нахмурился.

Внимательно присмотревшись, можно было подумать, что Мартынов искал уединения. Ивняк и высокий берег надежно скрывали его, а стоявшие у самого берега две раскидистые березы отбрасывали на него широкую тень.

Но вот послышался конский топот. От села вдоль берега скакал верхом на лошади молодой парень. На его непокрытой голове развевались белокурые волосы.

Верховой промчался мимо берез, затем круто повернул лошадь, осадил ее и спрыгнул на землю. Был он босой, с загорелым лицом.

— Заждался поди, Артемыч? — крикнул он, заметив Мартынова.

— Да, Проня, что-то ты задержался. Ну, как там? Всех разыскал?

— Разыскал, Василий Артемьевич. Учитель был в городе, я его встретил у кирпичного сарая. Обещал прийти.

— Придет, коли обещал.

— А Макара застал на работе. Сегодня он кирпич обжигал у Гыч Опони. Тоже сказал, что придет. А вот человека в Читу не застал. Ушел в лес за ягодами... Ух, и парит сегодня! Быть грозе. — Проня вытер рукавом грубой холщовой рубашки со лба пот.

— Добро! — сказал Мартынов. — А ты что же, так на коняге и разъезжал?

— Зачем! В Чит бегал на своих двоих, а лошадь оставлял у Макара во дворе.

— Смотри, чтобы хозяин не узнал...

— Да нет, откуда ему...

— Вот что, — сказал Мартынов. — Космортов-младший уезжает, значит, лошадь им будет нужна.

— Ну и подождут, что такого?.. Лошадь у них с норовом, вроде хозяина. Вчера сорвалась с привязи и, сколько ни гонялся за ней хозяин, так и не далась. А сегодня меня послал имать и наказал — без лошади не являться... Ты не беспокойся, Артемыч! — широко улыбнулся Проня. Прядь выгоревших от солнца волос спустилась на его смелые дерзкие глаза.

— Отдыхай, браток, — улыбнулся Мартынов. — Если хочешь порыбачить, вон там удочка.

— Удочка? Хорошо! Только я сначала искупаюсь! Давай вместе, Артемыч, нырять!

— Нет уж, я не буду. А ты можешь освежиться. Умеешь плавать? Не утонешь?

— Это я-то? Лучше самого водяного плаваю! — Проня потрепал нежно лошадь, спутал ей передние ноги веревкой, замотал вокруг шеи повод и отпустил пастись. Затем он снял рубашку, штаны и прямо с обрыва бухнулся в воду.

Прошло мгновение, другое, третье. Мартынов ждал. Но когда круги на воде растаяли, а белокурая голова отчаянного парня все еще не показывалась, он почувствовал беспокойство.

Где-то невдалеке заунывно кричала гагара, посвистывал кулик. Над самым ухом нудно звенел комар.

Выждав еще несколько секунд, Мартынов бросил на землю картуз и начал торопливо снимать рубашку.

Но в это время почти у противоположного берега показалась голова Прони. Он громко отфыркивался.

Мартынов погрозил ему.

— Тюлень! Напугал-таки меня...

А Проня уже плыл обратно. Через некоторое время он вышел на берег и стал одеваться.

2

Вдали, у песчаной отмели Коровий мыс, показалась лодка.

— Макар едет! Дорожку с блесной тянет! — сказал Проня.

— Точно, он! — подтвердил Мартынов. — А что, Проня, не попробовать ли соорудить уху? Вот только рыбки маловато.

— Рыба сейчас будет. Ты, Артемыч, разведи костер да повесь котелок с водой, а я попробую поудить, — сказал Проня.

Вскоре в укрытии, куда не достигал ветер, пылал костер, в котелке закипала вода, а Мартынов кончал чистить двух подъязиков, пойманных Проней.

— Меня здешние язи не признают, а у тебя клюет. Чуют земляка. — пошутил Мартынов.

К ним подплыла долбленая лодчонка. Сидевший в ней инвалид поздоровался:

— Чолэм да здорово вам! Знать сегодня, Василий Артемьевич, не работаешь у себя в кузне?

— Здравствуй, Макар Сергеевич! — Мартынов подал ему руку. Неуклюже переступая березовой деревяшкой, Макар выбрался на берег.

— Решил пораньше отшабашить! — продолжал Мартынов. — Теперь какая работа, все на жнивье. Поймал ли что на блесну?

— Поймал щучку. Коли заглянешь к нам завтра, хозяйка угостит жареной рыбой.

— Спасибо! Завтра думаю сходить в Чит, на обратном пути, может, и заверну... А вот и наш учитель показался! Э-эй, сюда! — Мартынов помахал картузом долговязому человеку, пересекавшему луг с корзинкой в руках.

Это был учитель Ладанов.

— Добрый вечер! — сказал он, приближаясь к костру. — Надеюсь, я не очень опоздал, Василий Артемьевич?

— Да нет, как раз! Уха готова, подсаживайтесь.

— Что, в городе сегодня были? — спросил Мартынов.

— Был! — прикуривая от уголька папироску, сказал учитель. — Вызывали по повестке. И знаете куда?

— В воинское присутствие?

— Угадали.

— Нехитрое дело. Теперь всех туда приглашают. Значит, и до вас дошла очередь, Алексей Архипович?

— Как видите, принялись и за учителей. «Надо готовиться!» — сказали мне. Котомку там, бельишко на смену...

— Так, так...

Помолчали. Макар сердито ткнул палкой в чадившую головешку и буркнул себе под нос:

— И когда только избавимся от этой проклятой мясорубки?

Поставив рядом корзинку, учитель сосредоточенно посмотрел в костер. Потом, как бы вторя Макару, заметил:

— В Вологде, когда я учился в семинарии, так же собирались украдкой и спорили: почему русско-японская война кончилась для России позорным миром? Ругали Куропаткина, негодные наши порядки... И вот снова война, и опять нас бьют, но только уже немцы с австрияками... Теперь кого ругать?

— Вот об этом и хотелось с вами потолковать, — сказал Мартынов.

Когда все собрались у костра, он внимательно огляделся и осторожно вытащил из кармана газету.

— «Социал-демократ», — пояснил Мартынов. — Тут статья «О поражении своего правительства в империалистической войне». Хотите послушать?

— Читайте, — отозвался Ладанов. Макар и Проня подвинулись к Мартынову.

— Статья без подписи... Если что будет непонятно, спрашивайте. Постараемся сообща разобраться.

Порывисто налетел ветер. Пламя костра заметалось. Искры закружились в клубах сизого дыма.

Мартынов читал не спеша. Макар слушал, накручивая на палец усы. Ладанов курил папироску за папироской. Проня, усевшись в сторонке, напряженно слушал. По-русски он понимал плохо, и статья, видимо, с трудом доходила до него. Все, что читал Мартынов, для него было новым и необычным. Он хорошо понимал только одно: Мартынов — против царя, а для Прони царюга — пусть хоть сквозь землю провалится.

— Крепко, брат, сказано, толково! — отозвался Макар, когда статья была прочтена. — Вот бы эту газетку да солдатам в окопы!

— Написано — лучше не придумаешь! — сказал Мартынов. Он снял с огня котелок и попробовал уху. — Готова! Давайте есть. Только вот задача: у меня одна ложка.

— Я сейчас сделаю! — отозвался Проня. — Это нетрудно: береста рядом, ножик есть. Мы с Макаром Сергеевичем живо смастерим. Верно, дядя Макар?

— Верно, парень! Солдат, брат, такой человек — и шилом бреется, дымом греется, везде найдет ходы-выходы, — пошутил Макар. Но было видно, что думал он о другом.

Ладанов молчал. Он тяжело вздохнул, собираясь что-то сказать, но, видимо, не решался. Ярко пылавший костер освещал его бледное лицо, так и не загоревшее за лето...

Проня раздал самодельные ложки, и все уселись вокруг котелка.

— Никак не пойму, Василий Артемьевич, — сказал наконец Ладанов. — Получается по газете: Россию нужно отдать немцам?

— Почему?

— А как иначе? Желать поражения своему правительству — значит желать поражения и России. С этим согласиться я не могу. Стоять на коленях перед врагом не собираюсь, буду воевать.

— Россию и царское правительство не следует сваливать в одну кучу. Это разные вещи! — возразил Мартынов.

Макар поддержал его:

— И мне кажется: одно дело Россия, другое — царь. На войне я ногу потерял. Но коли потребуется, за Россию-матушку и голо-

1*

вы не пожалею. А за Николашку воевать — дудки!

Мартынов сказал:

— Россию мы, конечно, чужеземцу не отдадим. И не об этом речь. Если царское правительство проиграет войну, его легче будет сбросить с народной шеи.

— Не знаю, не знаю... — покачал головой Ладанов. — Правительство сбросить — это не в бабки играть. Тут решается судьба целого государства, и надо подумать, серьезно подумать...

Заметно стемнело. А они, четверо, все еще сидели у костра и горячо обсуждали статью.

Первым спохватился учитель:

— Потеряли, наверно, меня домашние. Еще искать вздумают.

— Да, пора расходиться, — поднимаясь, сказал Мартынов. — Макар Сергеевич, доберешься ли ты на своей лодчонке? Ветер поднялся, может, помочь тебе?

— Не надо, сам управлюсь. Спасибо, Василий Артемьевич.

Мартынов предложил Ладанову:

— Может быть, вас проводить, Алексей Архипович? Возьмите с собой Проню.

— Зачем? Тут недалеко. Не желаете переночевать у нас? Правда, мой тестюшка человек со странностями, но я могу уступить свою комнату...

— Чем идти туда ночевать, лучше, помоему, в стоге сена выспаться, — сказал Макар. — Поедемте ко мне, Василий Артемьевич...

Но Мартынов отказался ехать в деревню.

— Спасибо, друзья. Здесь, на свежем воздухе, высплюсь. Смотрите, какая тут прелесть!

— Ну, как хотите... Спокойной ночи! — попрощался Ладанов и торопливо зашагал к селу. Макар же, оттолкнув лодку от берега, заработал двухлопастным веслом. Вскоре он исчез в темноте.

3

Оставшись вдвоем с Проней, Мартынов подсел к нему и, дружески хлопнув по плечу, сказал:

— Что, парень, умаялся? У меня к тебе есть разговор. Если завтра явишься к хозяину, он тебе не оторвет голову?

— А что такое? — встрепенулся Проня.

— Есть у меня думка, да не знаю, понравится ли тебе. Должен предупредить: дело трудное и опасное.

— Я не боюсь, Артемыч. Говори.

— Тогда слушай. Послезавтра успеньев день. В Троицком соборе протопоп собирается проповедь читать про войну, людям мозги коптить. Хорошо бы, когда народ после обедни станет расходиться, разбросать с колокольни листовки. А?

— Здорово бы получилось! — озорно блеснул глазами Проня. — Я знаю, как забраться, не раз туда лазил за голубиными яйцами.

— Постой, дело не шуточное. Надо со всех сторон обдумать. Ежели поймают, знаешь, что будет?

— Меня не поймают! Чисто сработаю, сам похвалишь, Артемыч.

— А не струсишь?

— Ну вот еще!..

Мартынов задумался.

Усилившийся ветер гнул и трепал прибрежные кусты. Внизу, под обрывом с остервенением билась о берег волна. Где-то во мраке приглушенно, будто потревоженный медведь в берлоге, проворчал гром.

— Давеча я видел, здорово ты плаваешь, — заговорил Мартынов. — Это хорошо! Для нашего дела такой человек нужен. Все же следует обдумать, прикинуть со всех сторон. Завтра потолкуем. А сейчас такое тебе задание, браток. Надо съездить в Вильгорт, за листовками. Передашь мою записку, получишь товар, а завтра занесешь ко мне в кузницу.

— Сделаю! На лошади махну напрямик через Кочпон. Сейчас, что ли, ехать?

— А дождь? Вон туча надвигается.

— Чай, не из глины, не размокну...

— Тогда поезжай! — сказал Мартынов. — В Вильгорте пообсушишься. Еще успеешь и всхрапнуть малость.

Мартынов вытащил из кожаной сумки тетрадь и, нагнувшись к костру, стал писать.

«Хорошо бы знакомых девчат повидать там! — думал Проня. — Может, на вечеринке их застану. А хозяину скажу: лошадь искал. С меня взятки гладки...»

Мартынов передал записку Проне.

— Спрячь подальше! Да возьми мою кожаную сумку. В ней и привезешь листовки. Будь осторожен. Слышишь?..

— Слышу! — донеслось откуда-то из темноты. Затем послышался конский топот, затухающий в порывах ветра...

ДОМНА

1

На рассвете, когда схлынула грозовая туча, Проня возвращался из Вильгорта. Хотя он и провел ночь почти без сна, все же выглядел бодрым, веселым.

— Эй-эй, ленивая скотина! — подгонял парень свою лошадь. — Пошевеливайся, Карко! Скоро дома будем...

К деревушке Дав он подъехал, когда только еще из двух-трех труб начали куриться дымки...

Домна, младшая дочь вдовы Каликовой, еще спала.

— Вставай, дочка, солнце уже всходит, — будила ее мать. Протирая слипающиеся глаза, девушка сладко зевнула в постели, сказала сонно:

— Разве уже пора вставать, мам?

— Пора... Тебе далеко бежать на работу, вставай!

— Еще капельку, — просила Домна. Ей казалось, что она только что успела лечь, и уже надо снова вставать и бежать месить Гыч Опоню глину. Ныли руки и ноги, не прошла еще вчерашняя усталость.

— Ну, полежи минутку, коли так! — Мать погладила шершавой ладонью русые волосы дочери. Домна, приоткрыв глаза, улыбнулась и вдруг подумала о матери: как она изменилась! Лицо исхудало, покрылось морщинами. Глаза усталые, грустные... Ей только за сорок, а заботы и горе состарили ее. Лишь в уголках губ таилась все такая же знакомая, родная улыбка. И голос по-прежнему звучал молодо.

Домна сжала пальцы матери. Они загрубели от постоянной стирки на городских чиновников и купцов.

— Анна! Тебе тоже пора вставать. — Мать стала будить и старшую дочь. — Сегодня пойдем с тобой ячмень жать к кожевнику. А вечером баню затопим. Домна, сегодня не опаздывай, баня выстынет... Вставайте быстро! Воды нет, сбегайте к колодцу.

— Сейчас сбегаю, — пообещала Домна.

«Счастливы девушки, которые могут спать вдоволь! — думала она, лежа на жесткой соломенной постели с полузакрытыми глазами. — Хорошо жить купеческим дочкам: едят — что душе угодно, спят — пока глаза не опухнут. Руки у них мягкие, без мозолей, от приданого сундуки ломятся... Не надо вставать чуть свет и бежать месить глину, чтобы заработать на одежду».

Последнее время мать все чаще напоминала дочерям о приданом.

— Без приданого невеста кому нужна? — поучала она. — Останетесь вековухами.

— А мне никто и не нужен! — отшучивалась Домна. — Я с тобой всегда буду жить, мам!

— Не мели, девка. Без мужика ох тяжело вести хозяйство. Вдовью-то жизнь лучше других знаю...

И действительно, трудно было матери-вдове вырастить детей. Нелегкая доля досталась и Домне. Ей теперь восемнадцать. Уже с шести лет ей пришлось добывать себе кусок хлеба. Чуть подросла, отправилась с матерью на заработки в Архангельск, в Устюг. Было это, когда Домне исполнилось четырнадцать. В людях жилось не лучше. Мать с дочерью работали служанками, стирали, мыли полы в купеческих домах. А в начале войны вернулись в свои края, в родную избу.

Весной Домна пошла месить глину на кирпичном заводике Гыч Опони. Весна в этом году выдалась холодная. Когда дул северный ветер, ноги стыли в ледяном месиве, спасенья нет! А не полезешь в яму, на твое место другие найдутся. Хозяин пообещал той, которая будет работать усерднее всех, подарить осенью самовар. А какая девушка не мечтает заработать самовар в приданое? Польстилась и Домна. Каждый день бегала на работу. Приходила первой, уходила последней...

В открытое окно светили первые лучи солнца. Анна спала с полуоткрытым ртом, тоненько посвистывая носом.

Домна вытянула из постели соломинку, слегка провела по губам сестры. Анна отмахнулась, смешно причмокнула. Домна ладонью зажала себе рот, чтобы не рассмеяться, и снова пощекотала соломинкой лицо сестры. Аннушка открыла глаза, пробормотала недовольно:

— Опять балуешься!

— Поднимайся, мать приходила будить!

— Отстань! Сама знаю...

Анна снова зарылась в одеяло. Она вчера легла поздно, покидать постель не хотелось.

«Пусть поспит Аннушка, — решила Домна, вставая. — Ей достается. Разве мало дела по дому? Все лето на людей работала: то косила, то жала. Сегодня тоже идет к кожевнику...»

Бедно и пусто в избе. В переднем углу притулились две потемневшие иконы. Над ними длинное полотенце с узорчатыми концами. Оно висит для украшения. Домашние пользуются грубыми холщовыми утиральниками. Над подслеповатыми окнами широкая полка — джадж. Там лежат большие неуклюжие ножницы и круглое лукошко с разными лоскутками, деревянные чашки. В углу небольшой стол. Пол некрашеный, добела вымыт дресвой. Широкие лавки-скамейки, два самодельных стула, деревянная кровать, на которой спят сестры, у двери на деревянных колышках, вбитых в стену, висит несколько шушунов, — вот и все богатство в доме.

Вспомнив, что мать велела сбегать за водой, Домна быстро надела кофточку, натянула через голову старенькую юбку из синей крашенины, в которой ходила на работу, и выбежала на крыльцо.

2

Солнце было еще низко. На улице прохладно. В соседних избах хозяйки тоже встали, гремели ведрами, обряжались.

Домна побежала к колодцу. Зачерпнув берестяным черпаком воду, она наполнила ведро и снова ладилась зачерпнуть, как вдруг услышала топот лошади. По дороге ехал верхом белокурый паренек. Он остановил коня, весело крикнул Домне:

— Девушка! Напой водичкой! Она у тебя, наверно, вкусная?

— Иди пей! — приветливо отозвалась Домна и поставила на край колодца черпак с водой.

Парень спрыгнул с лошади, привязал повод к изгороди, поправил рубашку и быстро подошел к девушке.

— Домна, это ты? — с удивлением воскликнул он. — Чолэм тебе! Не узнаешь, что ли?

Домна, взглянув на парня, смущенно улыбнулась:

— Проня?

— Он самый! — заулыбался Проня. — «Чурбан с глазами»! Припоминаешь теперь?

Парень подмигнул, наклонился к черпаку, устроился поудобнее и большими глотками стал жадно пить.

Да, теперь Домна вспомнила, как они зимой поругались с этим Пронькой. Она тогда с матерью стирала белье у Космортовых. Там жил в работниках и этот Проня. «За что же я тогда обозвала его чурбаном с глазами? Ах да, проходя по кухне, он запнулся и опрокинул ведро с водой», — мелькнуло в голове у Домны.

Заметив висевшую у парня сбоку кожаную сумку, девушка спросила:

— Куда это ты так рано едешь?

Проня вытер рот и, кивнув на лошадь, сказал:

— Домой добираюсь. Два дня, проклятую, искал. Уморила, окаянная. Гонялся, гонялся — никак не подпускает к себе. А не приведешь, хозяин мне же и оторвет голову. Разве не знаешь, какой он?

— А в сумке что везешь?

— В сумке? Еда. Припасы...

— Так много?

— Это разве много? Я ведь такой — как сяду за стол, ковриги хлеба как не бывало. На днях я у бабушки полную доску ячневых пирогов умял, — хитро улыбаясь, прихвастнул Проня. — Не веришь? Могу побожиться. Если есть пироги, зови к себе, покажу, как их едят.

— Нет, нет! — опасливо оглянувшись на окна, поспешила сказать девушка. — У нас сегодня не стряпают...

Проня и не собирался долго задерживаться, ему надо было торопиться в город.

Домна ему нравилась. Еще год назад она была невзрачная и худенькая, а теперь перед ним стояла статная, русоволосая невеста. Красавицей, быть может, ее и не назовешь, но залюбоваться можно. Особенно хороши были глаза — темно-синие, иногда казавшиеся даже черными, словно омытые росой ягодинки смородины. И как они могут менять свое выражение? То смотрят строго и пристально, то в них мелькают шаловливые искорки, то улыбаются ласково. И вся она похожа на лесной цветок, который не сразу бросается в глаза.

— Еще, что ли, зачерпнуть тебе свежей воды? — опуская черпушку в колодец, спросила Домна.

— Нет, хватит! Мне же до города трястись на лошади. Вода, как в бочонке, будет булькать, — шутливо похлопал себя по животу Проня.

Домна не удержалась, фыркнула. Мать, выглянув в окно, крикнула ей:

— Домна, поторопись! На работу бежать надо!

— Иду, мам!

— Куда тебе на работу? — поинтересовался Проня.

— В Кочпон, Гыч Опоню кирпичи делать.

— Не попутчики, значит! — вздохнул Проня и, помолчав, добавил быстро: — Знаешь что? Завтра успенье. В старом соборе протопоп будет проповедь читать про войну. Приходи!

— Уж и знаешь ты все? — усомнилась Домна.

— Я? Да я у купца Суворова четыре года работал, все знаю. Он мне даже свои старые сапоги подарил и гармошку... Правда, поломана она была, но я починил и теперь хоть куда. Приходи, попляшешь под мою гармошку.

— И все-то ты врешь. Когда это ты успел научиться играть на гармошке?

— Я-то? У самого Суворова учился! У него восемь больших и малых гармошек было. На всех сам играл. Как только, бывало, кончит торговать, запрет лавку, откупорит бочонок с пивом... У него, знаешь, всегда в запасе пиво бродило... И как растянет меха да как гаркнет мне: «Эй, Прошка, чертенок! Трепака закатим или русскую?» Я ему командую: «Давай русскую!» И пошло у нас веселье! Я пляшу, а он

подзадоривает: «Жарче, еще жарче!» Бывало, до упаду доведет... Ну, как, будешь завтра в городе?

Домна медлила с ответом. Правда, ей хотелось побывать в городе, но ведь как еще мать на это посмотрит.

— Она у нас строгая, — пояснила Проне девушка. И как бы в подтверждение ее слов, из окна снова раздался требовательный голос:

— Домна, завтрак стынет на столе!..

— Иду, — отозвалась девушка. Она вскинула на плечи коромысло с ведрами и, легко покачиваясь, зашагала к дому.

Проня развязал повод, вскочил на коня, махнул рукой девушке, свистнул и помчался. Вскоре он исчез за поворотом. Поднятая им пыль еще долго висела в воздухе.

«Вот тебе и чурбан с глазами!» — подумала Домна.

Поставив ведра в сенях, она зачерпнула ковшиком воду, вышла на крыльцо и наполнила висевшую на веревке берестяную коробушку, в летнее время служившую им рукомойником. Домна еще раз бросила взгляд на дорогу, но там никого уже не было. Даже пыль улеглась. Вокруг было тихо и спокойно.

3

Умывшись свежей колодезной водой, Домна почувствовала, что ее усталость как рукой сняло. Расчесывая и заплетая в тугую косу русые волосы, она напевала:

Вечером шла я полевой тропинкой,
Искала цветы лазоревые.
Много нарвала цветочков разных,
Чтобы подарить любимому.
Лишь один цветок не могла найти,
Домой пошла я грустная.
И вдруг глаза мои увидели
Тот желанный цветок на лугу.
Сорвала его я радешенька,
Сорвала и поцеловала!..

— Что это сегодня наша мама так разворчалась? — выйдя на крыльцо, спросила Анна.

— Вот уж не знаю, с чего она расшумелась, — пожала плечами Домна и, озорно сверкнув глазами, добавила: — Долго не встаешь, может, потому?

— А с кем это ты там стояла у колодца? — спросила ехидно Анна.

— Когда? — сделала удивленные глаза Домна.

— Еще в постели я услышала конский топот. Выглянула в окно, а он уже у колодца тебе зубы скалит.

— Кто?

— Да твой, этот белобрысый.

— А-а! Это Пронька из Кируля... — небрежно сказала Домна, словно не замечая вызывающего тона сестры. — Он лошадь искал хозяйскую. Где-то около Пажги, говорит, поймал. Три дня гонялся за ней, окаянной... Пронька говорит — завтра успенье. Может, в город с тобой прогуляемся? Зачем дома киснуть в такой день? В лавках побываем, на базар заглянем. Ты, кажется, ладилась новую гребенку купить? — деланно спокойно говорила Домна. Не будь Аннушка занята своими волосами, она прочла бы в сияющих глазах сестры: «А ты и не догадываешься, почему у меня на сердце так хорошо?»

За столом, похлебав из общей чашки жиденьких щей, Домна вскинула глаза на мать и начала издалека:

— Мамук! Хозяин сегодня рассчитаться обещал. Кучу денег принесу...

— Дай бог, — вздохнула мать.

— Мам, ты у нас хорошая. Я всегда говорю: наша мама всех лучше. Аннушка, правду я говорю?

— Смотрю я на тебя: сидишь ты, как на шиле! — пытливо нацелилась взглядом мать на младшую дочь. — Что случилось с тобой, девка? Уж не тот ли балбес тебе голову вскружил?

— О ком ты это, мамук? — с невинным видом спросила Домна.

— Да о том самом, с кем у колодца любезничала. Смотри ты у меня, не водись с кем не следует! Что толку от такого бесштанного.

— Ах, маманя! — обиделась Домна. — Уж и нельзя поговорить с человеком! А сама-то, как встретишься с кем-нибудь у колодца, говоришь без конца...

— Остра ты стала на язык, девка! — недовольно проворчала мать.

— Не сердись, мамук, это я по глупости... Отпусти нас с Аннушкой завтра в город. Хочется обедню послушать в старом соборе, богу помолиться. Знаешь, сегодня во сне я видела ангелов. Красивые такие, крылатые, с серебряными трубами. Говорят мне: «Молись, Домна...» — Домна молитвенно закатила глаза, являя собой образец кротости и смирения. Анна еле удержалась, чтобы не прыснуть, и с двойным усердием принялась за щи. Мать подозрительно посмотрела на озорную дочку.

— Богу молиться — дело похвальное, конечно. Да ведь ты опять что-нибудь выкинешь.

— Не бойся, мам, ничего не случится. Вот и Аннушка будет со мной...

— Ну, что ж. Коли хочется, сходите, помолитесь...

Домна вышла из-за стола, схватила узелок с печеным картофелем и куском хлеба на обед. Сказала весело:

— Ну, мамук, жди с деньгами.

— Твои бы слова, доченька, да богу в уши! — сказала Наталья Ивановна, провожая Домну до порога. И уже громко добавила: — Не опоздай на работу, дитятко, беги быстрее!

Домна уже не слышала ее наставлений. Она, бегом спустившись с крыльца и поправив на голове ситцевый платок, стремглав пронеслась под гору. Вскоре ее тонкая, легкая фигура мелькала уже далеко на лугу.

4

От тихой деревушки Дав, где жила Домна, до кирпичного сарая Гыч Опони было неблизко. Каждое утро Домна спешила знакомой тропкой, чтобы явиться на работу одной из первых. Тропинка вилась по сырому кочковатому лугу, затем нырнула в лесок, где, весело перекликаясь, порхали птахи. Молодые ели тянулись нежно-зелеными побегами к солнцу, подрагивая под легким утренним ветерком. На пышных мшистых буграх уже краснели гроздья брусники.

В лесу тихо. После ночного грозового ливня от пригретой солнцем земли поднимается парок. А там, где погуще, — сыро и прохладно.

Миновав соседнюю деревню Чит, Домна задворками вышла на кочпонскую дорогу и, где вприпрыжку, где быстрым шагом, направилась по тропинке, бегущей между полями, с торчащими тут и там золотистыми суслонами.

Кочпон отличался от других пригородных селений. Несколько лет назад по нему погулял красный петух, и теперь он заново отстраивался. Дома в нем новые, недавно срубленные, на сосновых бревнах еще не успела подсохнуть смола. Улицы прямые, широкие. На высоком берегу Сысолы виднеется голубая церквушка.

У околицы села Домна увидела стадо. Хозяйки уже подоили коров и выпроваживали их на пастбище. В утреннем воздухе далеко разносилось мычанье коров и телят, звон бубенцов и стук погремушек, лай собак. И все это перекрывал густой, величественный голос вожака стада:

— Му-му-му!..

Это был огромный черно-пестрый бык по кличке Магэ. Важный, словно пристав, широкогрудый, на массивных ногах, с тяжелой, будто каменная глыба, головой. Налитые кровью глаза устрашающе поблескивали. Он медленно шагал в стаде коров, помахивая шишкастым, упругим хвостом.

Домна знала, что этого быка следует остерегаться. Но получилось по-иному. Когда она шла мимо дома Макара, на дорогу выбежал вихрастый мальчонка и, размахивая хворостиной, покрикивал на коров:

— Уходите от нашего дому! Быстло, быстло!..

Мальчик не сразу заметил быка, а когда тот оказался в нескольких шагах, закричал со страху. А бык, опустив голову, напрягся, чтобы ринуться вперед. Еще миг, и бык повалит парнишку на землю и растерзает.

Ни о чем не думая, Домна бросилась между ними, размахивая руками, закричала истошно:

— Куда ты, идол, куда? Вот я тебе, только посмей!

Бык поднял голову, с недоумением покосился на смелую девушку. Домна нагнулась и, схватив подвернувшуюся под руку старую, выброшенную за ненадобностью плетуху-корзинку, бросила ее в быка. Плетенка, ударившись в лоб, повисла на рогах. Бык затряс головой, пытаясь освободиться от внезапной помехи.

Тем временем Домна схватила мальчика и полезла с ним через забор, но, спускаясь, подвернула ногу.

— Ай да молодчина, девушка! Этакого зверя не испугалась!

Домна оглянулась. У изгороди стоял незнакомый человек в стареньком пиджаке, картузе и с удочкой в руке. Незнакомец поднял увесистую палку, валявшуюся у изгороди, и громко прикрикнул на быка. Магэ, успевший уже освободиться от надоевшей ему плетенки, сердито ударил копытом о землю и нехотя поплелся догонять стадо.

— Ах, проклятый бык! Чуть не забодал сынка! — громко причитая, выбежала из дому женщина. Это была жена Макара, тетушка Татьяна. Всю весну она тоже работала у Гыч Опони, месила глину, а на время сенокоса вынуждена была уйти, чтобы заготовить корм для своей коровенки.

Татьяна стала приглашать Домну в избу:

— Зайдем к нам, угощу картофельными сочнями. Сто раз спасибо тебе за дите! Не окажись тебя тут, Магэ забодал бы его. Пойдем, покормлю я тебя чем-нибудь, Домнушка!

— Не могу, тетушка Татьяна, — сказала Домна. — На работу спешу. Да вот с ногой что-то случилось.

Прихрамывая, она подошла к крыльцу, присела на ступеньку и стала ощупывать ноющую ступню.

— Тебе помочь, девушка? — отозвался стоявший у изгороди незнакомец, похожий на мастерового.

— Нет, спасибо! — поблагодарила Домна.

— Заходи к нам, Василий Артемьевич! — пригласила его жена Макара.

— А Макар Сергеевич дома?

— Нет, он уже на работе.

— Тогда не буду вас беспокоить. Передайте ему мой привет и скажите, что я был в Читу, видел нужного человека. А теперь спешу в город. До свидания! Будете в городе, загляните ко мне.

— Сами навещайте! — ответила тетушка Татьяна. Мужчина раскланялся и зашагал в город.

— Кто это? — спросила у хозяйки Домна.

— Ссыльный Мартынов, знакомый Макара, — поправляя на голове платок, сказала тетушка Татьяна. Она была в сером шушуне с фартуком и в стоптанных котах. Присев к Домне, хозяйка озабоченно спросила:

— Не вывих ли у тебя случился? Может, позвать знающего человека? Есть тут у нас одна бабушка, от всех болезней лечит. Баньку затопит, веничком попарит, настоем из трав напоит. Она и слово такое знает. Великая мастерица на все руки.

— Да нет, не стоит ее беспокоить. Авось само пройдет! — сказала Домна и попробовала привстать, но тут же приглушенно вскрикнула от боли.

— Зайдем к нам, отдохнешь малость и пойдешь.

Домна начала осторожно подниматься по шатким ступенькам крыльца...

САМОВАР В ПРИДАНОЕ

1

Кустарный кирпичный заводик Гыч Опони стоял у опушки ельника, на сухом песчаном бугре. Работало тут с полсотни человек, в большинстве девушки. Всех их пригнала сюда крайняя нужда.

С начала войны мужчин забрали в армию, и заботы о куске хлеба легли на плечи женщин.

Гыч Опонь предпочитал нанимать девушек-подростков: они и безответные, и платить меньше.

Мимо кирпичного сарая пролегла проселочная дорога в город. Вдоль дороги тянулась изгородь, окаймлявшая изрезанное узкими полосками поле. За полем виднелась густая осиновая роща.

От кирпичного сарая город не был виден, но с дороги можно было разглядеть за зубчатой кромкой темнеющего леса сверкающие позолоченой главы городского кафедрального собора да шпиль пожарной каланчи.

На работу Домна пришла после полудня. У кирпичного сарая слышались девичьи голоса. Все тут кипело, все делалось бегом. Одни месили глину, другие подносили песок. Из печи для обжига кирпича поднимались клубы черного дыма. Около нее возился коротко остриженный, одноногий Макар, муж тетушки Татьяны. Он был без рубашки. Его загоревшее до черноты тело блестело от пота. Макар ковылял неуклюже — не привык еще к своей деревяшке. Ногу он оставил где-то на равнинах далекой Галиции.

К месту работы Домна подошла, тая тревогу: сегодня впервые она опоздала. Важно было, чтобы строгий хозяин не увидел ее сейчас, а там как-нибудь уладится.

От ближней ямы, где месили глину, показался с ведрами в руках дурачок Терень. Видно, за водой послали. Домна подождала его и, когда тот подошел, ласково спросила:

— Дядя Терентий, не знаешь, где хозяин?

— Там, в сушилке торчит, — мотнув лохматой головой в сторону длинного дощатого сарая, отозвался Терень.

Ему уже лет за сорок. Был он с жиденькой бороденкой и с усами пепельного цвета. В задумчивых глазах его постоянно трепетал страх или сквозило беспокойство. Одет он был в обветшалый, заношенный сюртук, очевидно, по жалости подаренный ему каким-то сердобольным чиновником. И весь он жалкий, пришибленный жизнью, грязный, с космами седых свалявшихся волос. А было время, этот человек имел семью, хозяйство, трудился. Да глядя на других соседей, вздумал поручиться за плута-подрядчика, а тот бессовестно надул их всех, и увели у Терентия последнюю скотину со двора, разорили мужика. Терентий вздумал судиться с подрядчиком, но прогорел окончательно, израсходовал последние гроши, ничего не добился и тронулся умом. Теперь он и сам не помнит, который год бродит бездомным бродягой и где его семья. В этих местах его знает каждый. Временами он как будто приходит в себя и рассуждает толково и работает, как все, а потом вдруг найдет на него — и начнет блажить, бросает все и уходит куда глаза глядят.

Здесь его держали на побегушках. Кому что понадобится, тот и кричал ему:

— Эй, Теря — глухая тетеря, сбегай за лопатой!

— Терень, наколи дров!

— Тереха, дружище, воды принеси!..

И Терентий бежит за водой, колет дрова, послушно выполняет все, что ни велят. Иногда хозяин оставляет его за сторожа, подкармли-

вает и даже разрешает ночевать в углу сарайчика, под навесом.

Домна с состраданием относилась к этому несчастному и теперь искренне предложила ему:

— Дядя Терентий, давай я принесу воды!

Но Терень недоверчиво отстранился:

— Сам принесу.

— Отдохни тут, посиди. Давай ведра!

— Не дам! Ишь нашла дурака! — Терентий еще крепче ухватился за ведра, отошел к яме и стал черпать оттуда дождевую воду.

— Чего ты испугался? Боишься, ведра стащу?

— А то нет! Ведра-то хозяйские!

— Я вместе с вами работаю. Неужели не помнишь меня?

— Леший вас разберет! Все вы на одну мерку, — отвернувшись, ворчал Терентий. Он явно был не в духе. Домна, чтобы расположить его к себе, предложила:

— Хочешь, угощу вкусным?

Терентий посмотрел недоверчиво:

— Чем угостишь?

— В узелке у меня печеная картошка. Хочешь?

— Покажи.

— Смотри... — Домна проворно развязала узелок и выбрала самую крупную картофелину. — Бери!

— Давай две! — жадно блеснул глазами убогий.

Девушка протянула ему пару картошек, и Терентий отдал ей ведра.

— Бери, таскай воду. Только хозяину не говори, ведра-то хозяйские... А я червячка подзаморю. Одну картошку сам съем, а другую детишкам припрячу.

— А где твои дети? — спросила Домна.

Терентий неопределенно махнул рукой.

— Там... Далеко... — Он грязным рукавом вытер погрустневшие глаза и начал чистить картошку.

Домна наполнила ведра и сторонкой направилась к яме, где знакомые девушки месили глину.

На дне ямы в жидком месиве рыжей глины топтались две голоногие девушки.

— Вот вам и вода! — сказала Домна.

— Где же ты пропадала? — удивились те.

— Хозяин справлялся про меня?

— Несколько раз спрашивал.

— Я ногу подвернула, — сказала Домна, спускаясь в яму. Она подобрала подол юбчонки и, приступая к работе, рассказала своим подружкам, Дуне и Клаве, что с ней приключилось. Девчата ахали.

Обе они, сокрушаясь, советовали:

— Пойди и расскажи все, как было, авось не станет сердиться.

— Может, он сам заглянет сюда, — возразила Домна. Ей не хотелось встретиться с хозяином. Она старалась оттянуть неприятную минуту.

— Прятаться — для тебя же хуже! — убеждала ее Дуня. — Потом скажет: не было тебя на работе, не видел. Разве не знаешь его? При расчете за грош торгуется.

— Известно, жила! — поддержала ее Клава, счищая щепкой налипшую на ноги глину. — Два года я у него батрачила. Бывало, скажет: «Сегодня ко мне зайдет читовский мужик. Он любитель пить чай. Мы посидим с ним, поговорим о наших делах, а затем я крикну тебе на кухню: «Клавдя! Пить хочется, поставь-ка нам самоварчик!» Ты, конечно, пообещай, налей даже воды, самоварной трубой постучи погромче, а огонь не опускай. Через какое-то время я опять крикну: «Клавдия, бесова дочь! Что это у тебя так долго самовар не кипит? Человек вон домой собирается идти». А ты отвечай: «Ах ты, беда какая! Про самовар-то я и забыла! Потух ведь он, окаянный!» И снова, говорит, начинай стучать трубой, а огня не опускай, ни-ни! Буду ругать тебя для виду, а ты все равно отговаривайся да брякай трубой. Надоест мужику и уйдет... Вот он какой, знаю я его! Лучше пойди к нему, Домна, да расскажи все как есть... — И Клава снова принялась усердно месить глину.

— Волков бояться — в лес не ходить! — махнув рукой, сказала Домна. — Не хочу дрожать перед ним.

— Вон ты какая! — с восхищением заметила Дуня. — Смелая! А мы с Клавой слово сказать при нем не смеем.

— Авось не проглотит, чего его бояться! — успокаивала подружек Домна. — Трусить будешь — сядут такие тебе на шею. Знаю я их! В Устюге один толстозобый тоже вздумал на меня кричать. Так я брякнула ему в глаза такое — теперь еще поди чихает. Ну, ладно, девчата, схожу разыщу его, скажу, почему опоздала... За меня вы не бойтесь. — Домна поправила сбившийся платок и, выбравшись из ямы, очистила налипшую глину и зашагала к дощатому сарайчику.

2

Но все случилось иначе. Не успела Домна приблизиться к сарайчику, как послышался бойкий перезвон колокольчика, и из-за поворота дороги от города показалась запряженная в пролетку рыжая лошадь.

Услышав колокольчик, из сарая выглянул и сам хозяин. Заслонив широкой мясистой ладонью глаза, он вглядывался в приближавшуюся пролетку, в которой сидело двое мужчин. Один из них был его племянник — сын лесного доверенного Космортова, а второй — уездный агроном Степан Осипович Латкин. Отец Латкина — известный в городе и округе прасол, член городской думы. Узнав молодых людей, Гыч Опонь широко заулыбался.

— Добрый день, дядя Афанасий! — по-русски поприветствовал Гыч Опоня племянник, когда пролетка остановилась у сушильного сарая. Он легко соскочил на землю, поддерживая соломенную шляпу. Вслед за ним с пролетки сошел и его приятель Латкин.

— Здравствуй, Афанасий Петрович!

— Милости-с просим, дорогие гости! — поклонился хозяин, приподняв над головой картуз с лаковым козырьком. Был он крупного роста, крепкого сложения, с жирными губами, мясистым лицом и с красными, как у карася, круглыми глазами. За это и прозвали его односельчане Гыч Опонем — Афонькой Карасем.

— Хе, хе, а вы всё вместе, два приятеля! — потирая руки, заметил он добродушно.

— Мы с Михаилом Кондратьевичем старые друзья! — сказал Латкин. — Еще по Петербургу. Студентами сблизились. Я теперь простой агроном, а он помощник дворцового архитектора. Фигура!

— Ну, зачем это, Степа! Мы с тобой друзья, а все остальное не имеет значения, — окидывая взглядом владения дяди, сказал Космортов. Высокий, сухопарый, с черными, словно нарисованными усиками и с ниспадающими на плечи черными, слегка вьющимися волосами, в тщательно выутюженных брюках и белоснежной рубашке, он значительно отличался от своего друга. Домна, оказавшаяся поблизости, оценила его по-своему: «Глиста в штанах!» Племянник хозяина не понравился ей с первого взгляда. Держался он надменно, разыгрывая из себя барина.

— Дорогой дядюшка, через несколько дней мы с Софи собираемся в Петроград, — важно говорил он. — И по этому случаю завтра устраиваем прощальный обед. Я специально приехал пригласить вас с тетушкой Марьей. Надеюсь, не откажетесь? После обедни сразу прошу к нам... А теперь вот еще что: Степан Осипович хочет кирпич купить. Он что-то собирается у себя ремонтировать. Есть свободный кирпич?

— Есть, есть! — обрадованно закивал головой дядюшка.

— Вот и прекрасно! Ну-ка, показывай свое хозяйство, кирпичный король! Фу, какая тут грязь у вас! — перешагивая через лужу, брезгливо поморщился архитектор.

— Грязь-то грязь, да ведь, дорогой, кирпич делаем, а не кампет. Без грязи не выходит... Как-ино живет твоя баба, племяш? — путая русские и коми слова, спросил дядя.

— Хочешь сказать — моя жена Софи? Прекрасно. Просила привет вам передать.

— Сто раз спасибо, дорогой! Пускай господь бог даст здоровья и дальше... Эй, Терень! Иди подержи лошадь! Лок татчэ! [1] — крикнул хозяин Терентию, подошедшему поглазеть на господ.

Терень шагнул было к лошади, но в этот момент Латкин сунул руку себе в карман, чтобы достать портсигар, и Терентий, испугавшись, юркнул за сарай.

— Что с ним? — удивился агроном.

— Дурак. Думал, бить кочешь, вот и бежал, — махнув рукой, пояснил Гыч Опонь. — Эй, кто там ближе? Домна. Держи лошадь.

Домна взяла лошадь за повод. Хозяйского племянника она видела впервые, а уездного агронома знала. Стирала как-то у них. С матерью.

Латкину было около сорока. Рыжеватые брови, помятое лицо кутилы, глаза цвета прокисшего молока, холодные, даже когда он смеялся, оставляли неприятное впечатление.

Вынув из серебряного портсигара папироску и закурив, Латкин предложил и хозяину:

— Закури, Афанасий Петрович!

— О, какой короший папирос! — польстил Гыч Опонь и неуклюжими пальцами стал осторожно вылавливать папироску, хотя и не курил из скупости.

— Может, чайку попить желаете? — предложил он, неумело попыхивая даровой папиросой.

— Попозже. Вы поговорите о деле, а я парочку эскизов накидаю, — сказал Космортов и добавил не без восхищения: — Вижу, неплохо преуспеваешь, дядя Афанасий! Хозяйство твое растет. Вот два новых сарая. Их раньше не было.

— Да, это прошлый год построил! — с удовольствием подтвердил Гыч Опонь.

— И печь для обжига кирпича, кажется, новая. И людей больше работает. Вон их сколько: и там, и там, и там...

— Больше полсотни человек около меня кормится, да толку от них мало. Короший народ на войну забрали, сопливые девчонки остались.

— Отлично, — восхищался Космортов. — В детстве, помню, здесь темный лес стоял. Проходя по дороге в Кочпон, я каждый раз

[1] Лок татчэ! — подойди сюда!

боязливо оглядывался на этот лес — боялся леших и медведей. Чтобы не тронул медведь, я брал заплесневевшую корку хлеба и ел эту гадость. Дядюшка! Будь добр, прикажи принести из пролетки мольберт, саквояж и складной стульчик.

— Кто он такой, саквояж? — растерянно спросил Гыч Опонь. — Я не знаю.

— Саквояж — кожаная сумка. Там у меня краски, кисти. А мольберт — это станок для рисования. Понял?

— Понимай теперь, все корошо понимай! — закивал дядя и, желая блеснуть перед рабочими, крикнул Домне: — Эй, девка! Чего вылупил глаза! Сходи на лошадь, неси барину... Как говорил? — обратился он к племяннику.

— Мольберт, саквояж и стульчик!

— Вот дырявой голова! — Гыч Опонь сердито бросил Домне уже по-коми: — Вай баринныслысь колуйсо. Сэсся коди за барином — куда он туда тэ тшотш. Кылан он но, божтом катша? [1]

И, снова обращаясь к племяннику, пожаловался:

— Некороший девка этот.

— Почему? — прищурился архитектор на Домну, возившуюся с его вещами у пролетки. — Ты не прав, дядюшка. Она, на мой взгляд, хорошенькая: выразительные губы, умные глаза! В ней что-то есть. Как ты находишь, Степан Осипович? — обратился он к Латкину.

— Ничего, смазливая, — согласился Латкин.

— Нет, ты посмотри внимательнее: характерное лицо зыряночки. Знаете что? Я, пожалуй, набросаю ее портрет.

— Дугды вай, дугды, племяш! [2] — замахал руками Гыч Опонь. — Некороший она баба, шалтай-балтай...

Домне было смешно, как изъяснялись дядя с племянником: один по-русски, другой по-коми, вставляя безбожно исковерканные русские слова. И тем не менее они понимали друг друга.

«Однако быстро он забыл родной язык! — подумала о Космортове Домна. — Стыдится его, что ли? Старается барином себя показать...»

Архитектор, конечно, и не предполагал, что о нем думает в эту минуту сопровождающая его девушка. Следуя за дядей, он беззаботно насвистывал. Гыч Опонь, суетясь, рассказывал про свое хозяйство, объяснял, где и что находится, как думает расширять предприятие.

Кирпич на его заводике производили кустарным дедовским способом. Когда требовалось быстро изготовить большую партию кирпича, глину месили лошади. Обычно же все делали люди, — так обходилось дешевле.

Когда хозяин со своими гостями подошел к той яме, где работала с подружками Домна, девушки усердно месили глину. Под их ногами вязкая масса чавкала, сопела, пучилась, прилипала к ногам.

Не одна уже на этой работе получила ревматизм на всю жизнь. Многие жаловались на боли в пояснице. Словно кроты, они копались тут с утра до вечера с первых весенних дней, как только оттаивала почва, и до заморозков...

Хозяин велел девушкам подать для пробы глины; помял между пальцами, покачал головой недовольно.

— Что, красавицы, весело работать? — спросил Латкин.

— Весело... — отозвалась Клава, другие промолчали, занимаясь своим делом.

— Раствор слабый. Добавьте песочку и месите лучше. Усерднее надо работать. Бог труды любит! — распорядился Гыч Опонь и повел гостей дальше, к сарайчику, где формовали кирпич-сырец. Домна, с вещами хозяйского племянника, замыкала их шествие.

Здесь, на формовке, хозяин платил не поденно, как другим рабочим, а с каждой сотни кирпича. И работницы трудились изо всех сил. Руки, локти, плечи — все в постоянном движении. Надо успеть, чтобы не отстать от других. А не будешь поспевать, на твое место поставят другую, более проворную. Придя домой, формовщицы еле держатся на ногах, спешат быстрее до постели добраться. Натруженные руки ноют, а по ночам немеют, становятся словно деревянные.

Кирпич-сырец относили в сушилку и ставили на длинные стеллажи, правили, если было нужно, и несли к печи для обжига.

Когда Гыч Опонь с гостями подошел туда, Макар вытянулся и поздоровался по-солдатски:

— Здравия желаю!

— Здравствуй, дружище! — ответил Латкин. — Видать, что солдат. Где ты потерял ногу?

— В Галиции...

— Чудесно, — машинально сказал Космортов и, чтобы сгладить неприятное впечатление, поправился: — Добро, добро, солдат. Работай!

— Добро — что в проруби дерьмо! — сказал Макар. Латкин пожал плечами, а приятель сделал вид, что не понял дерзости Макара.

---

[1] Принеси вещи барина. Затем сопровождай барина — куда он пойдет, туда и ты. Слышишь, бесхвостая сорока?

[2] Брось давай, брось, племянничек!

Чтобы замять неприятный разговор, Гыч Опонь предложил Латкину пойти посмотреть кирпич, заготовленный для продажи.

— Недалеко тут у дороги сложен, — сказал он. — Понравится — можете увезти хоть сегодня!

Космортов, установив мольберт, начал вытаскивать из саквояжа краски, кисти и все необходимое для рисования. Домне он предложил сесть несколько дальше, объяснил, что собирается рисовать ее портрет и чтобы она сидела смирно, не вертела головой.

Тем временем Латкин с хозяином прошлись к штабелям аккуратно сложенного кирпича. Агроном, осмотрев товар, спросил о цене.

— Товар — первосортный! — расхваливал свой кирпич Гыч Опонь. — Сто лет простоит печь из такого кирпича. Сами видели, как девушки месят глину. Я им поблажки не даю. Зато и кирпич... звенит!

Хозяин взял штуку кирпича, щелкнул по нему ногтем и, бросив к ногам, торжествующе заявил:

— Видал, Степан Осипович! Вроде как из железа. Не стану тебя обманывать, не возьму такой грех на душу. Кирпич сильно корошиий, покупай.

— Хорош-то, быть может, и хорош, Афанасий Петрович. Да ведь и цена у тебя... — Латкин, не докончив фразу, щелкнул пальцами.

— Степан Осипович! По нынешним-то временам разве это цена? — удивился Гыч Опонь. — Можно сказать, задаром даю. Покупателю всегда кажется дорого, а нашему брату — одно разорение. Уже подумываю закрыть дело. Только жалко своих работников. Перестану возиться с кирпичом, куда они денутся? С голоду подохнут! Истинный Христос, пропадут... А все война! За второй год перевалило, а ни конца ей, ни края не видно. Как там наши теперь воюют? Жив ли еще проклятый Вильгельм у немцев?

— Утешительного мало, — сдержанно отозвался Латкин и привычным движением стряхнул с папироски пепел. — Немец жесток и коварен. На Западном фронте он, пишут, пустил в дело газы...

— Пресвятая богородица, что делается. Как думаешь, долго еще будем воевать? Конец не близок ли?

— Какой там конец. Недавно Италия объявила войну Австрии, воюют уже одиннадцать государств.

— Господи боже! — перекрестился Гыч Опонь и со вздохом добавил: — Вот и нашего зятя, Алексея Архиповича, забирают на войну. Извещение пришло. Велели готовиться. О, господи. Год как женился на дочке. Человек он, сказать откровенно, не очень завидный, к делу не слишком усердный и с ссыльными любит якшаться. А все же свой человек. Какой палец ни укуси, все равно больно. И за какие только грехи господь послал это наказание — войну? А я уже так хорошо начинал жить, думал большой завод построить, заводчиком стать...

Так беседуя, они вернулись к архитектору, который вчерне набрасывал портрет Домны.

Собираясь уезжать, Латкин сказал Гыч Опоню:

— Вот тебе, Афанасий Петрович, небольшой задаточек, остальную сумму привезу через несколько дней. Обещаешь подождать?

— Подождать можно, почему не подождать.

— Не обманешь? Мне кирпич нужен...

— Коли пообещал, так и будет, Степан Осипович, — заверил Гыч Опонь. — Только вам уступаю по этой цене, из уважения к вашему семейству... Может, съездимте к нам в Кочпон, обмоем это дело?

Он вздохнул, сокрушенно покачал головой, изобразив на лице цвета прокаленного кирпича смирение и скорбь.

Гости не отказались съездить в Кочпон. Гыч Опонь проводил господ к пролетке, помог им сесть, сел сам и взялся за вожжи.

— Можно ехать?

— Одну минутку! — остановил его уездный агроном и, повернувшись к Домне, сказал игриво:

— Слушай, как тебя зовут, чернушка?

— Домной зовут, — сдержанно ответила та. Она стояла в сторонке в ожидании приказа хозяина.

— Хочешь с нами прокатиться до Кочпона? — предложил ей Латкин.

Домна отказалась:

— Я на работе.

— А мы попросим твоего хозяина.

— Все равно не поеду, — грубовато отрезала Домна и, встретившись с наглым взглядом агронома, вспыхнула, но не отвела глаз, не опустила их.

— Ох, и злюка, видать, — усмехнулся Латкин. — Ладно, не надо. Думал попросить проводить нас. Заработала бы на леденцы. Да глаза твои слишком уж сердитые. Не люблю таких...

Легкая пролетка покатила по пыльной дороге к видневшейся вдали деревне.

3

После отъезда хозяина работа не спорилась. Снижающееся солнце уже не припекало. Повеяло прохладой. День клонился к вечеру.

Была суббота. За неделю тяжелой, напряженной работы тело налилось усталостью. И наиболее бойкие девчата по одиночке и парами направлялись к печи для обжига.

Макар, делая вид, что недоволен, заворчал на них:

— Что вам здесь надо? Почему не работаете?

— Дядя Макар, дай напиться. У тебя всегда свежая, вкусная вода, — отозвалась худенькая Дуня, у которой в вырезе синей кофточки угловато торчали ключицы.

— Откуда только достаешь такую чудесную воду? — затараторили вслед за ней и другие.

— Кругом марш! — невозмутимо скомандовал Макар и в острастку даже пригрозил им черемуховой палкой, с которой он редко расставался. — Знаю я вас, озорниц. Марш отсюда!

— Не бойся, не украдем головешек из твоей печи... Дядь Макар, мы соскучились по тебе, а ты нас гонишь, — бойко тараторила Клава.

Девушки шумной стайкой окружили его.

— Дядь Макар, не будем ссориться. Не шуми больно, а то попадет от нас.

— Возьмем и вываляем в пыли. Нас вон сколько, а ты один...

Макар невольно отступил.

— Ладно, трещотки, сдаюсь!

Девушки бережно подхватили его под руки, усадили на валявшийся тут же обрубок кряжа и, разместившись рядом, стали упрашивать рассказать что-нибудь о своей службе в солдатах.

— Ладно, греховодницы. Коли решили отшабашить сегодня, что с вами поделать? — лукаво подмигнул Макар. — Только без караульного нельзя... Тереша, друг! Понаблюдай за дорогой. Покажется хозяин, свистни.

Макар начал набивать свою самодельную трубку.

Веселый гомон поутих. Завязался общий разговор про питерского гостя, хозяйского племянника, который только что был здесь с уездным агрономом. Девушки рассуждали про себя, каким он стал спесивым и важным.

— С нами даже не поздоровался, — сказала Клава.

— Где уж с нами! Матери родной и то по-коми слова не скажет, — уминая закопченным пальцем табак в трубке, угрюмо заметил Макар. — Не знаю, как он теперь там в Кочпоне с тетушкой разговаривает, а дома у себя, рассказывают люди, был такой случай. Захотелось ему пить. Вода, говорит, мне надо вода. А мать по-русски вроде нас знает, кинулась к постели. Куда, спрашивает, золотко, постлать, может, в горнице приляжешь? Она поняла по-нашему, по-коми, вода — значит спать ложусь...

Девушки посмеялись над незадачливой мамашей и спесивым сыном. Макар сердито покручивал ус.

— Эти белоручки все такие! Бар из себя корчат. И этот не лучше: выучился, женился на дворянке — и нос кверху! На родном языке ему, видите ли, уже стыдно слово сказать! Есть же такие выродки, прости господи!.. А хорошо бы такого в окоп загнать, пусть послушает, как пули посвистывают. Может, тогда и поймет... — сурово заключил Макар и, заметив Домну, спросил: — Расскажи-ка, воструха, о чем беседовали господа?

— Агроном купил у нашего хозяина кирпич. А затем разговаривали про войну. Да мало что я у них поняла. Потом про цеппелины, подводные лодки... Дядь Макар, а что это такое?

Макар пожал плечами.

— Подводную лодку мне, девчата, видеть не довелось, но слыхал — это такое военное судно, которое под водой. А цеппелин видел. Летит по небу такой длинный и толстый, как кишка. Смотреть страшно! Бес его знает, как он там держится, на воздухе... А все придумали, чтобы людей убивать. И пушки, и корабли там разные, и огнеметы...

— А что такое огнемет? — спросила Дуня, поправляя на голове старенький платок с голубыми горошинками.

— Сказать вам — не поверите! Это такая чертова труба, огненной струей стреляет... все, что есть, начисто сжигает. Довелось мне своими глазами видеть, не приведи господи! Погнали нас в атаку. А он, немец, как даст из этих огнеметов! Что там было! Много моих дружков-солдатиков заживо сгорело, обуглилось...

Девушки слушали затаив дыхание. Макар помолчал, разжигая трубку.

— Много там губят и калечат нашего брата, — пыхнув дымком, заговорил он. — Людей косят, что траву. Получается, как на мельнице: одних перемелют, другие приходят, и снова работает чертова мельница. Видно, пока не перебьют всех, войне конца не будет. А кому от нее польза, от этой войны, подумайте сами? Одним война — это мученье и смерть, для других же... вот таких, к примеру, которые только что тут были... вроде и войны нет. Живут себе на здоровье, гуляют, веселятся... Вот и рассудите, где правда на земле? — Макар спохватился, что высказал лишнее: — Про это, девушки, молчок. Я вам ничего не говорил, и вы ничего не слышали.

— Не беспокойся, дядь Макар. Мы понимаем, — успокоила его Домна.

— Ну, тем лучше. А то за длинный язык живо-два к исправнику «в гости» можно угодить. Кто тогда будет кирпичи делать нашему хозяину, который и калачиками вас кормит, и приданый самовар обещает? — подмигнул девушкам Макар.

— Чтоб его раздуло с этих калачей! — несмело отозвалась Дуня и юркнула за спины подружек.

— А ты чего испугалась? Тут все свои, доченька, ябедников нет среди нас. Не так ли? — быстро окинул взглядом девушек Макар.

Те дружно закивали головами...

Солнце уже снижалось к лесу, когда раздался сигнал. Терентий сообщил Макару, что на дороге из Кочпона показалась лошадь.

Вскоре у кирпичного сарая остановилась знакомая пролетка, и, точно куль с солью, из нее вывалился хозяин. Гыч Опонь был заметно навеселе. Отряхнувшись от пыли, он любезно попрощался с гостями. Пролетка тронулась и попылила дальше к городу.

Проводив молодых людей, Гыч Опонь с ларцом под мышкой по-хозяйски прошагал к сараю и, распорядившись вынести под навес сколоченный на скорую руку столик, уселся на широкий обрубок. Открыв с мелодичным звоном ларец, он по одну сторону его положил связку калачей, по другую, справа, — горку медяков и серебряную мелочь. Хотя время было военное, трудное, однако хозяин все еще придерживался прежних порядков, старался казаться добрым и по субботам, производя расчет с рабочими, вместе с медяками давал по калачу.

— С богом! Давайте, кто первый? Кто спешит в баньку попариться, подходи! — говорил он, потирая и без того рдевший нос. — Господи, благослови нас! Начнемте с тех, которые глину месят. Ты, Дуня, старалась эту неделю. Получай полтину серебром, и еще вот калачиком полакомись. Бери, не стесняйся! Что заработала, то и получай. — Гыч Опонь положил в руку Дуни полтинник, затем взял из связки калач: — Ешь на здоровье. Калачик-то вон какой румяненький да вкусненький! Хрустит на зубах. Кто дальше? Ты, Клава. Удержу из твоего заработка стоимость лопаты... Что, так и не нашелся тот заступ?

— Нет, — ответила Клава вдруг осипшим голосом.

Среди подружек она выглядела самой слабенькой и болезненной. Домна знала, что в иные дни солдатская дочь работала впроголодь, не имея даже куска хлеба. И когда другие в перерывы между работой закусывали, Клава молча отходила в сторону, чтобы не изводиться. Домна не раз делилась с ней своим скудным завтраком. Хозяину, разумеется, до этого не было дела. Качая укоризненно головой, он продолжал допытываться у сникшей девушки:

— Как же так, милая? За лопату я деньги платил. Так ведь задаром никто не дает ничего. Я покупаю, а вы теряете хозяйское добро. А может, случайно домой унесла?

— Нет же, нет, хозяин! — испуганно заморгала глазами Клава.

— Тогда куда же мог деться заступ?

— Не знаю...

— Ты не знаешь, и я не знаю, а кто же знает? — продолжал ласково тиранить беспомощную девушку Гыч Опонь. Сегодня после выгодной сделки с уездным агрономом он был в хорошем настроении. Теребя жиденькую бороденку, Гыч Опонь задумался на миг, затем, махнув добродушно рукой, пропищал бабьим голосом:

— Бог с тобой! Не буду сегодня удерживать, подожду. А ты, голубушка, ищи. Заступ — не иголка. Если домой не утащила, куда ему деваться? Получай заработок. И калач тоже бери, не буду обделять тебя.

— Спасибо, Афанасий Петрович!

— Бога благодари! Это он — наш кормилец и благодетель.

Скуповато расплачивался хозяин, но девушки и такому заработку были рады.

— Той, кто прилежнее всех старается, осенью самовар подарю, — как и всегда в субботу при расчете, напомнил Гыч Опонь. — Он у меня уже дома стоит. Хорошее приданое будет. Самовар новенький, как огонь горит.

Домна ждала, когда очередь дойдет и до нее, но хозяин упорно ее не замечал.

Подошел Макар. Хозяин сунул ему в ладонь несколько монет и калач.

— Мало... — встряхивая на ладони недельный заработок, угрюмо проговорил Макар.

— Бери, коли так, еще один калач! — расщедрился Гыч Опонь и, подавая, ласково добавил: — Бери, Макарушка, бери, пусть полакомятся детишки...

— Постой ты с калачом... За работу мало платишь, я говорю. Обижаешь нас.

— Это я-то обижаю? Господь с тобой, Макар. Не пьян ли ты, дружок, сегодня?

— Нет, я не пьяный, Афанасий Петрович. Сам посуди, теперь все втридорога стало: и хлеб, и продукты, и одежда. А ты все еще по старым ценам рассчитываешь. Ну, что я на эти медяки куплю для семьи? — перетряхнул на ладони монеты Макар.

— У меня, чай, не казна! — сухо отрезал Гыч Опонь.

— Сегодня, хозяин, продал кирпич, большие деньги получил, наверно? А нам гроши даешь.

У Гыч Опоня от неожиданности на какой-то миг словно отнялся язык. Считал он себя кормильцем этих бездельников, а ему вон что осмелились сказать в глаза.

— Сегодня ты слишком боек на язык, Макар! — наконец выдавил он из себя. В глазах его заметались недобрые огоньки, но он сдержался. Макар все-таки солдат, ногу потерял на войне, медалями награжден, да и человек нужный. «Но потачку давать тоже нельзя», — решил про себя Гыч Опонь.

— Я тебе, Макарушка, вот что добром скажу: коли не нравится у меня, иди где лучше платят. Я тебя, дружок, не задерживаю. С богом! И никого не буду задерживать. Не глянется у меня — скатертью дорога!

— В том-то и дело, что некуда нам деваться от этой проклятой жизни! — выругался Макар и, шагнув вперед, протянул свои обожженные ладони. — Вот они, мозоли наши. Старые от винтовки, а свежие — на тебя работая, получил... Обидно! Ты и девушек безответных заставляешь до упаду работать, а платишь гроши. За это, выходит, воевали мы, что ли?

— Воевал ты, Макар, за веру, царя и отечество! — торжественно сказал Гыч Опонь и поднял палец кверху.

Но Макар махнул рукой:

— Слыхали это! Уши прожужжали...

— Как ты смеешь! — возмущенно воскликнул Гыч Опонь. — Хотя и медали у тебя, а за такие слова, знаешь, что могу с тобою сделать? Неуважение к царю высказываешь...

— Я по-доброму с тобой, хозяин, а ты грозишься, — спокойно заметил Макар. — Разве нельзя по-хорошему с нами говорить?

— Получил расчет и с глаз долой! Сказано мною — отрублено! — уже не сдерживая себя, выкрикнул Гыч Опонь. — Освобождай место!

Домна, молча наблюдавшая за ними, рванулась вперед. Еще минуту назад она не решилась бы на этот шаг, но теперь словно какая-то сила толкнула ее стать перед хозяином лицом к лицу.

— Афанасий Петрович, не надо так! Дядя Макар хороший человек, не обижайте его. У него же семья, детишки...

— Ах, и ты тут! — недобро сказал он. — А ну-ка, скажи, где целый день болталась? Почему не работала?

— Утром ногу повредила. А затем все время работала. Вот девушек спросите, — начала было оправдываться Домна. Но, заметив, с каким недоброжелательством уставился на нее хозяин, замолчала.

Кто-то из девушек промолвил несмело:

— Она работала сегодня, усердно...

Гыч Опонь словно и не слышал. Тогда Макар кинул резко:

— Хозяин! Не обижай эту девушку.

Гыч Опонь приподнялся, передвинул остатки калачей с одного края столика на другой.

— Заодно, стало быть? По договоренности?

Домна вдруг почувствовала, что робость, связывавшая ее, исчезла. Смотря прямо в глаза хозяину, она отчеканила:

— Мы не договаривались, зачем лишнее наговаривать?!

— Ха, не собираешься ли меня учить, сопливая? — кинул Гыч Опонь и, вдруг побагровев, визгливо закричал:

— Вон отсюда, лентяйка!

Домна отшатнулась, перевела дух и, чувствуя, как застучало сердце, выпалила разом то, что накипело:

— Если хочется орать, кричи на свою жену, а меня не трогай... И еще скажу: ты и есть самый настоящий живоглот!

— Ах ты зараза! Да я тебя... — начал было наседать Гыч Опонь.

Но Макар остановил его, сказав внушительно:

— Хозяин, зачем кричать? Голос надорвешь. И без того хрипеть стал...

— Замолчи, не твое дело! Я тут хозяин... Вон отсюда, пока целы! У меня сказано — отрублено! А будете упрямиться, позову урядника, упеку в чижовку, — пригрозил Гыч Опонь. Он сгреб деньги, калачи, захлопнул ларец и пошел прочь.

«Вот тебе и приданый самовар!» — подумала Домна, и комок обиды подкатил к горлу, перехватил дыхание.

ЛИСТОВКИ

1

Наступил день успенья. Домна с Анной ранс утром отправились в город.

Усть-Сысольск утопал в листве тополей и берез, там и здесь тронутой золотисто-желтыми проплешинами — вестниками приближающейся северной осени.

Над городом плыл разноголосый звон колоколов. Гудела медь только что отстроенного Стефановского кафедрального и старинного Троицкого соборов. Жиденьким перезвоном им вторили церквушки окрестных местечек.

Сестры не сразу решили, куда им пойти к обедне. В Стефановском соборе, рассказывали им горожане, больше благолепия и там хорошо поют, но в Троицком будет служить сам протопоп. Сегодня он собирался произнести пропо-

ведь, и многие направились послушать его. Сестры тоже повернули к старому собору. Он стоял на высоком берегу Сысолы, где можно было после обедни погулять. Вокруг росли тополя, березы и несколько молодых кедров.

Проповедь протопопа привлекла многих прихожан. В церкви было тесно и жарко. Сверкали паникадила, мигали лампадки и свечи, густо понатыканные у икон. Под тяжелыми каменными сводами плавал густой дым ладана. У порога, где сестры остановились, толпились бедно одетые старушки, вдовы и нищенки.

— Пойдем дальше, — тронув сестру за руку, шепнула Домна.

Но сестра осуждающе качнула головой. Домна стала одна протискиваться вперед. На нее шикали и ворчали жены приказчиков и чиновников. Староста, обходивший прихожан с большим металлическим блюдом, неодобрительно покосился на нее. Домна, как наказывала мать, положила ему на блюдо копейку, но староста не подобрел от этого. Домна поспешила юркнуть за спины.

Наконец она оказалась среди купчих и жен больших чиновников. Здесь пахло духами и потом разомлевших от жары тел. Шуршали шелковые платья, юбки с многочисленными оборками и бантами. В глазах рябило от переливающихся разноцветными огоньками перстней и дорогих браслетов.

«Счастливые люди», — забыв про службу, думала Домна.

На клиросе заливались певчие. Рядом стояли купцы в синих кафтанах, чиновники в мундирах с блестящими пуговицами. Эти молились совсем не так, как бедный люд. Они, точно играючи, помахивали кистями холеных рук.

Но вот певчие пропели «Буди имя господне...». Прислужники вынесли обитый парчой аналой. Из алтаря вышел протопоп в золотистой ризе и широким взмахом руки благословил прихожан.

— Братья и сестры! — встав за аналоем, произнес он нараспев. — Бог послал нам тяжкое испытание. Жестокий и коварный враг огнем и мечом вторгся на нашу землю, разоряет храмы божьи, глумится над православной верой. Война охватила полмира. Близок день суда господня!..

Люди слушали затаив дыхание. Лишь изредка то тут, то там раздавался скорбный вздох какой-нибудь старушки, может быть, потерявшей единственного кормильца.

Служба окончилась, народ стал молча выходить из каменного собора.

Перешагнула порог храма и Домна. После проповеди на душе у нее было смутно. На паперти толпились нищие. Среди них был и Терень. Босой, без шапки, оборванный, он стоял с перекинутым через плечо мешком, крестясь, благодарил за поданную милостыню.

— Терень, ты что тут делаешь? — спросила Домна.

— Ради Христа прошу... Детки голодают, накормить их надо! — жалобно сказал он. Затем помолчал и уже рассудительно добавил: — Хочу денег подкопить и в Устюг махнуть, до самого большого судьи.

— Зачем?

— Правду найти. Злые люди спрятали правду, а он знает и скажет... Подайте, ради Христа, бедному человеку! — протянул он руку за очередным подаянием.

Выйдя за церковную ограду, часть прихожан направилась по Покровской и Сухановской улицам к себе домой, некоторые спешили по Набережной в сторону Кируля, а кому было не к спеху — кружили по соборной горе.

Отсюда, с крутого берега Сысолы, открывался живописный вид на реку, на маячившую вдали Золотую гору, на чуть видневшуюся слева Вычегду.

Здесь было светло и привольно. Под легкими порывами ветра мягко шелестели блестящие листья тополей, покачивались пушистые ветки кедров.

Затерявшись в шумной толпе парней и девушек, Домна с Анной шли не спеша и только успели завернуть за угол каменной церковной ограды, как над высокой колокольней взметнулась стая галок.

Сестры невольно взглянули вверх.

— Аннушка, смотри! Что это с ними? — с недоумением спросила Домна.

— Вспугнули, — отозвалась та. И не успела сказать, как вдруг из черного проема колокольни появилось странное белое облачко, точно выпорхнула стайка белых голубей.

Но это были не голуби.

— Листовки! — раздался чей-то звонкий голос.

Покружившись в воздухе, листки падали вниз, на толпу гуляющих. Многие кинулись ловить их.

— Смотрите! Тут что-то написано...

— Видите: «Долой грабительскую войну!»

Кто-то вскрикнул, словно прикоснувшись к раскаленному железу:

— Эй, полиция!

В толпе замелькала черная, как у цыгана, борода кожевника. Он завопил, словно на пожаре:

— Это дело ссыльных, в Сысолу их, утопить всех до единого!

Вокруг старого собора все задвигалось, закипело. Замелькали фуражки полицейских и стражников. То тут, то там раздавались сердитые окрики: стражники бросились собирать разлетевшиеся листовки, вырывали их из рук, кричали на тех, которые пытались утаить, запрятать в картузы, в карманы.

Домна, впервые попав в такую переделку, более с любопытством, чем с испугом наблюдала, что творится вокруг.

Где-то около самой колокольни раздался ликующий голос кожевника:

— Держите, вот он!..

Домна с Анной побежали за хлынувшей в ту сторону толпой.

— Где, где он? — спрашивали друг у друга всполошенные люди.

— Только что тут видел! — кричал кожевник осипшим голосом, красный и потный от усердия. — На колокольне был, поганец, там прятался! Тут он! Ищите...

— А это не он ли? Смотрите, смотрите, бежит... — кто-то показал на мелькнувшую у церковной сторожки фигуру человека.

— Он! Держите дьявола! — захлебываясь от ярости, гаркнул кожевник и бросился догонять бегущего.

Через минуту голос его был слышен за углом:

— Попался-таки!..

— Да это же Терень, дурья башка! — спохватился бойкий и вертлявый дербеневский приказчик.

— И вправду он, дурак! Куда ты бежал, болван этакий?

— Не бейте меня, не бейте! — защищая голову от удара, взмолился Терентий.

— Лешак кривоногий! Дубина! Добрых людей только с толку сбил! — И, поддав ногою нищему под зад, кожевник помчался обратно. Толпа зевак хлынула за ним и дербеневским приказчиком.

Вскоре Домна вновь услышала голос кожевника:

— Караульте выход с колокольни, здесь он.

Стражники заметались, как собаки, почуявшие зверя. Они бросались то в одну сторону, то в другую, раздавая тумаки и подзатыльники путающимся под ногами ребятишкам.

В суматохе трудно было что-либо понять.

Но вот Домне показалось, что в одном месте в толпе мелькнула взлохмаченная голова Прони.

— Проня! Пронь-ка-а! — закричала Домна. Но кругом было шумно, она еле расслышала свой голос.

— Может быть, не он? — выразила сомнение Анна.

— Что ты! Будто я его не знаю? — возразила Домна.

Парень, за которым охотились стражники, ловко ныряя в толпе, добежал до обрыва, на миг остановился у края и прыгнул вниз.

— Ловите его, ловите! Вот он, шельмец! — размахивая черным картузом, кричал запыхавшийся кожевник.

Подбежав к обрыву, Домна успела заметить, как далеко уже под горой мелькнула фигура и исчезла за прибрежными постройками.

Между тем полицейские свистки все еще перекликались на соборной горе. Но было уже поздно: парень успел скрыться из виду.

— Аннушка, видела, как он сиганул с угора прямо вниз? Ай да Пронька! Как ты думаешь, это он раскидал листовки?

— Сказала тоже... Разве Пронька так бегает?

Стражники продолжали шнырять, подбирая тут и там листовки. Люди же, опасаясь попасть в полицию, спешили по домам.

— Ну и сорванец! — рассуждали в толпе. — Бегает, как олень, аж пятки сверкают.

— А что написано в листовках — знаешь?

— Не читал, что ли, сам-то?

— Да не учен я.

— Про войну написано: сколько народу побито, сколько денег переведено на прорву...

— Эх, война, будь она проклята!

2

Когда сестры покинули соборную гору, Домна спросила у Анны:

— Ты подобрала хоть листок?

— Зачем он мне, коли не умею читать!

— А я взяла. В коты[1] под подстилку засунула. Придем домой, я тебе прочитаю, — пообещала Домна. Она полтора года училась в женской начальной школе и хотя с трудом, но читала.

Сестры поднялись по Покровской улице к пожарной каланче, пересекли Спасскую улицу, прошли еще несколько десятков шагов и остановились у двухэтажного каменного дома с большими, в рост человека, светлыми окнами. Здесь помещалась женская гимназия.

— Вот бы где поучиться! — мечтательно проговорила Домна, любуясь гимназией, которая казалась ей сказочным дворцом.

— Ишь чего захотела! Когда будешь купеческой дочкой, может быть, и сюда попадешь, — съязвила Анна. — Пойдем дальше, а то глаза

[1] Коты — летняя легкая кожаная обувь, которую носили в прошлом.

прилипнут... В городе раньше всех открывается лавка Есева, к нему сначала и заглянем. Хорошо бы купить матери в подарок платок, а то у нее уже старенький. Знаешь что? Давай-ка разуемся. Ногам нашим ничего не будет, а обувку надо беречь. — Она села на край деревянных мостков и начала снимать коты. Домна охотно присоединилась: босиком даже лучше.

Одеты они были в старенькие, поношенные, но чисто вымытые сарафаны. На Домне, кроме того, была коленкоровая кофточка с вышитыми рукавами и белый передник. За спиной свисала темно-русая коса, куда бы очень подошла яркая шелковая лента. Но ленты не было, и пришлось вплести узенькую тесемочку. Незатейливый туалет девушек дополняли пестрые шерстяные чулки домашней вязки.

Разувшись, девушки закинули коты с чулками за спину, босиком пересекли грязную Троицкую улицу, сполоснули ноги в лужице и, свернув к нужной им лавчонке, несмело открыли входную дверь. Над их головами весело протинькал колокольчик.

В лавке никого не было. Сестры растерянно оглянулись и уже готовы были повернуть обратно, как из соседней комнаты показался хозяин в синей косоворотке, черном жилете, сухощавый, с длинным острым носом. Дожевывая что-то на ходу, лавочник быстро засеменил к прилавку. Острые бегающие глаза его ощупали сестер с ног до головы.

— Подходите ближе, красавицы! Выбирайте, какой товар на вас глядит! Угоститься чем ради праздника желаете? Пряничков отвесить? Или леденцов душистых? Вятских баранок хотите? У меня все вкусное, пальчики оближете.

Есев быстрым движением открыл крышку высокой банки, схватил несколько леденцов разной окраски и потряс на ладони. Один бросил в рот и, вкусно почмокивая, стал сосать.

В его нехитром заведении стоял тот специфический запах, какой обычно бывает в мелочных лавчонках, где торгуют всем понемногу. Преобладал запах кожи и дегтя. Рядом с сапогами висели вожжи, там же красовался хомут, болтались новенькие коты. Здесь можно было купить и нательные крестики с медными цепочками, пуговицы, керосин, мыло, «тронувшуюся» астраханскую селедку и дешевенькие ситцы. В народе таких лавочников называли «мышиные купцы». Они тащили, как мыши к себе в нору, все, что ни попадет. Чаще всего эти мелкие лавочники запасались попорченным лежалым товаром, который, приобретая за бесценок, ухитрялись продавать втридорога. Приказчиков эти лавочники не держали, сами торговали, придерживаясь правила: копейка к копейке — рубль набежит! Пройдет несколько лет, и, глядишь, удачливый «мышиный купец» приобрел капитал и уже присматривает место в людной части города для будущего магазина — каменного, двухэтажного, под железной крышей, с приказчиками. И тогда будет он ворочать уже не копейками и гривенниками, а рублями, сотнями, тысячами, как известные по всему коми краю купцы братья Комлины, Камбалов, Кузьбожев. Таким и мечтал в будущем стать лавочник Есев.

— Нам бы платок для старушки матери, — попросила Анна.

— Платок? Для старушки? Сейчас найдем! — охотно отозвался лавочник и мигом выложил на прилавок несколько платков. — Вам какой? В клетку или темный? Вот этот посмотрите — мягкий и теплый, в горошек, как раз для старушки.

Платки были недорогие, но словно выцветшие, с проплешинами. Посмотрев на свет, Анна заметила фабричный брак. Когда лавочник повернулся спиной, чтобы достать еще что-то с полки, Анна шепнула сестре: «Не будем покупать такую дрянь. Пойдем отсюда!..» И затем уже громко сказала лавочнику:

— Попозже мы снова зайдем. Надо посоветоваться с тетушкой, какой цвет лучше выбрать...

— Тогда, может, крестики купите? Есть простые, есть и под золото. Видите, как сверкают! — Высыпав на прилавок кучу больших и малых крестиков, лавочник начал расхваливать свой товар.

— Мы потом зайдем, попозже, когда богаче станем! — бойко съязвила Домна и, еле сдерживая смех, направилась к выходу.

Лавочник, оттопырив нижнюю губу, сердито начал убирать товар с прилавка.

— Коли нет денег, нечего и беспокоить людей! — проворчал он. — Из-за стола пришлось выскочить, паршивки этакие... Ходят тут, только грязь таскают в дом! Дверь прикройте, холера вас возьми!

— «Ходят!.. Грязь таскают!» — выйдя на улицу и скорчив гримасу, передразнила лавочника Домна и даже пальцами повертела, как он. Анна прыснула, и сестры побежали от дома лавочника.

— Пусть себе на шею вешает эти крестики! А платки — собаки жевали, — сказала Анна.

Усть-Сысольск был административным и торговым центром коми края. Проживали в нем мещане, крестьяне, мастеровые, чиновники и торговцы. Приезжему человеку он мог показаться большой деревней с деревянными в большинстве домами, банями, хлевами, огородами вокруг них, собачьими конурами.

В центре города, вдоль самых оживленных улиц, высились двухэтажные каменные магазины с зеркальными витринами — у Суворова, Камбалова, Кузьбожева, у известной по всему северу торговой фирмы Дербеневых. Они держали в своих руках весь край, устраивая ярмарки по Вычегде, на Печоре и Ижме. Пушнина и дичь, печорская семга и нельма, добываемая рыбаками и охотниками, так или иначе неизменно попадали в их руки и превращались в золото, в капитал.

Покинув лавку Есева, сестры пошли по городским магазинам. В них вьюнами вертелись приказчики. Они так ловко орудовали аршинами, как иной охотник не владеет неразлучным спутником в лесу — койбедем [1].

— Сколько прикажете отмерять? Пять аршин? Сию минуту-с! — любезно с поклоном ответит покупателю приказчик в черном жилете поверх красной рубахи, помашет аршином, отхватит кусок материи, мигом завернет товар и снова поклонится: — Пожал-те-с!

Домне с Анной они, конечно, не кланялись и лишних слов на них не тратили, лишь мимоходом справлялись:

— Что вам здесь надо, девушки?

Домну не очень интересовали сегодня покупки. У нее из головы не выходил Проня. Толкаясь по магазинам, она все время оглядывалась по сторонам, не увидит ли его среди народа.

В дербеневском магазине они наконец нашли недорогой платок для матери. Сестры долго примеряли его и решили, что подарок будет хороший. Они расплатились и, довольные, вышли на улицу. Анна хотела заглянуть еще в суворовский магазин, купить недорогие бусы. Домну бусы не прельщали. Она сказала сестре:

— Я лучше пройдусь по базарным ларькам, посмотрю на народ. А ты не жди меня, отправляйся домой. Матери скажи, что скоро буду дома...

В душе она все же надеялась увидеть Проню: не зря же человек сам приглашал встретиться в городе? Наверняка он где-нибудь там, на базаре, если, конечно, его не сцапали...

Базарная площадь размещалась у спуска на речную пристань. С одной стороны ее находился городской сад, за березами которого виднелась высокая колокольня Троицкого собора, справа была унылого вида воинская казарма. С набережной окнами на площадь высилось каменное здание духовного училища. У въезда на площадь стояла маленькая часовенка.

[1] Койбедь — своеобразное орудие коми охотника, один конец которого обработан в виде небольшой лопатки, на второй насажен железный наконечник.

В базарные дни и особенно в зимние ярмарки рынок наводняли толпы людей. Подводы с рябчиками, мороженой рыбой, олениной, сеном и прочим товаром заполняли площадь.

Но в этот воскресный день здесь было довольно малолюдно. Война сказывалась и на этой богом забытой базарной площади. В булочном ряду, метко прозванном лоботрясами из духовного училища обжорным рядом, — народу бродило негусто. В лабазах и ларьках торговали подопревшим овсом, тяжелым, как кирпичи, черным хлебом, граблями, вилами и прочими крестьянскими изделиями. Сплавщики могли здесь купить прогорклую крупу, соль, топоры — все это, конечно, за двойную цену, зато без лишних трудов и хлопот.

Проходя рынком, Домна остановилась около оживленно гомонившей кучки людей. У бочки с рыбой торговались сплавщики, возвращающиеся домой. В хозяине Домна узнала лавочника Есева.

— У тебя же, хозяин, рыбка совсем уже того-с! Смотри, вся раскисла, между пальцами так и расползается! — возмущался русобородый рослый мужик в лузане [1], с массивным медным кольцом на среднем пальце правой руки. Судя по певучему выговору, он был откуда-то с верховьев Вычегды. — Сам леший разве будет есть такую пакость!

— Печорский засол. Ты, дружок, сначала попробуй на вкус, а потом поминай нечистого. Смотри, чем плоха рыбина? — невозмутимо совал мужику под нос голову хариуса торговец. — А запах какой! К выпивке закуска — первый сорт, лучше не надо! Ты попробуй на вкус, а затем уже спорь со мной.

— Уф-ф! Ну и запашок! Из нужника, что ли, выловили ее? — заткнув нос пальцами и помотав головой, проговорил с отвращением обладатель медного кольца. Его товарищи дружно расхохотались. Лабазника это обидело, и он начал отталкивать от бочки гогочущую ватагу.

— А ну отвалите, зимогоры! Не хотите брать — не надо. Сами ловите хорошую рыбу, лентяи.

— Да ты, голова, скинь цену! Весь заработок уже проели, домой шиши везем. Стоит ли торговаться из-за такой... гм-гм... рыбы? Скидывай, хозяин, коли совесть не потерял! — настаивал бородач-сплавщик.

— Ишь, прыткий выискался: скинь!.. Тебе бы еще задаром?

— Что верно, то верно... Мужицкое брюхо все перемелет, — махнув рукой, согласился сплавщик.

[1] Лузан или лаз — безрукавка из полосатого домотканого сукна с кожаными наплечниками, предохраняющая от ветра и сырости.

Ниже к пристани, у ларька с вятскими гармошками и детскими игрушками, веселилось человек семь. У некоторых за спинами болтались тощие котомки, под мышками торчали обернутые в тряпки топоры, пилы.

Лихого вида паренек сидел с балалайкой. Он подмигнул подошедшей Домне, ударил пальцами по струнам, запел, скосив на девушку озорные глаза:

Толя Степан женится, да,
Свою женку сватает.
Женится, не ленится,
Каждому он хвастает...

— Зазнобушка, валяй к нашей компании ближе, — приглашал он Домну. — Калачами угостим, и послаще кое-что найдется.

— Толя Степан, хватит тебе. Играй, наяривай! — бросил ему приятель и, не дожидаясь, запел хрипловатым голосом:

Наши куры расхворались,
Скоро передохнут все...

Компания была навеселе. Кто хотел погулять, на рынке можно было разжиться и пивом домашнего изготовления, настоянным на табаке, и политурой, и даже денатуратом. Всем этим торговали из-под полы, и удовольствие стоило, конечно, недешево, но отчаянные головы решили, видимо, гульнуть последний раз. Вернутся к себе живы-здоровы, и ладно, а там видно будет, рассуждали они, не очень задумываясь о завтрашнем дне. Зимогоры устроились под навесик и дулись в очко. Парень-балалаечник, ударяя пальцами по струнам, забавлял их веселыми куплетами:

Буби козырь, пики туз.
Я Сибири не боюсь!
Сибирь родина моя,
Сибирь батюшки-царя!

Среди ватаги подгулявших дровосеков Домна увидела и Макара. Заметив ее, он невесело улыбнулся и поманил к себе:

— Домна! Куда спешишь? Не ищешь ли кого?

— С сестрой слушали проповедь в соборе, а теперь вот по городу гуляю, сюда завернула. А тебя, дядь Макар, не думала здесь встретить, — охотно вступила с ним в разговор Домна. Видно было, что и Макар доволен их неожиданной встречей. Пододвигаясь и освобождая для девушки место, он сказал добродушно:

— Коли не спешишь, садись. Рассказывай, как живешь, что дома у тебя?

— Известно что: мать поругала, поохала. Да разве я виновата?

Макар покачал головой.

— Тебя, дочка, ругать не за что, вины за тобой нет. Увижу мамашу, расскажу, она поймет... После вчерашнего я тоже хожу сам не свой. Так обидел хозяин! И не столько за себя переживаю. Прогнал меня — бог с ним, авось не пропаду без его грошей. Тебя-то за что облаял? Не человек, а самая настоящая собака!

— Неужели совсем тебя прогнал, дядь Макар? Кто будет ему теперь кирпичи обжигать?

Макар в ответ махнул рукой, усмехнулся:

— Смотри, сколько нашего брата шатается без дела! Работники найдутся. А меня он и на порог не пустит. Да и я не пойду ему кланяться, живоглоту. Вот тебе не следовало встревать между нами. Промолчала б, и все.

— Что ты, что ты говоришь, дядь Макар, — вся вспыхнув, запротестовала Домна. — Ты — добрый, хороший человек, не побоялся, заступился. А молчать я тоже не хочу!

Подошел сплавщик в лузане и с медным кольцом на пальце. Окликнул Макара:

— Что, служивый, голову повесил? Или барка с красным товаром у тебя затонула? — Это был мужик, который торговался у бочки с рыбой. Он мотнул головой в сторону зимогоров: — Люди веселятся, а ты что нос повесил? Давай закурим!

Макар подал ему кисет с табаком и спросил:

— Думаешь, им так уж весело? Поди поговори с ними. Я-то знаю, бывал там: больше полгода мыкаешься на уральских заводах, до седьмого поту работаешь, а, кроме вшей, ничего домой не привезешь. Их веселью не завидуй, в душу загляни!.. Вот и нас с этой девушкой хозяин прогнал, а ты говоришь — веселиться надо!

— Не хотел обидеть, браток, прости! — смутился сплавщик. — По правде сказать, и у меня на сердце камень. Вот выпьешь малость — и позабудешь про все, королем ходишь! А выйдет хмель, и снова горе с нуждой сердце гложут... Я, браток, с матушки-Вычегды, зовут меня Викул Микулом. Сортовку сплавить до Архангельска нанимались, да лиха беда случилась с нами, плоты в полой [1] загнало. Все лето провозились. А ты знаешь, какая это работа — выводить лес из полоя?

— Трудная? — спросил Макар, чтобы поддержать разговор.

— Сказать трудная — мало! — усмехнулся Викул Микул. — Я тебе скажу, адская! Все плоты надо разобрать и по бревнышку выводить к реке. Вот она — работенка сплавная! Архангельск далеко стоит, не видать его отсюда. И не один полой на широкой Вычегде да Двине подкарауливает тебя в пути. Трудно дается нам копейка.

---

[1] Полой — полынья: участок воды, окруженный ледовым покровом.

— А вы бы плюнули, бросили лес в полое, а сами вернулись домой! — посоветовал Макар.

Викул Микул покачал кудлатой головой.

— Оставить лес в полое? Да за это последнюю коровешку из хлева выведут, по миру пустят, в дым разорят, и не рад будешь жизни.

— На это они мастера! — сказал Макар. — С нами вместе тут работал мужик. Терентием зовут. Тоже по миру пустили. Погиб человек, даже с ума свихнулся, бедняга.

— Еще бы! — отозвался Викул Микул. Он помолчал и, принимаясь свертывать цигарку, спросил тихонько: — Слышал, что сегодня творилось на соборной горе?

— Говорят, стражники табунами бегали, весело было! — усмехнулся Макар. — Меня там не было, от людей слыхал. А что?

— Ничего, просто так... — Викул Микул отвел глаза. Но было заметно, что он что-то недоговаривает.

Домна вмешалась в разговор старших:

— Такая заваруха там была! Мы с сестрой все видели. Кожевник поймал Тереня и давай трепать!

— По ошибке, наверно. Не его они искали, — сказал Макар. — Там листовки, говорят, раскидывал кто-то...

— Весь берег был усеян ими. — Викул Микул глубоко затянулся и снова замолчал.

— А ты, земляк, не бойся меня, говори, что на душе. И этой девушки не опасайся. Она свой человек. Говори, не мнись, — подбодрил сплавщика Макар.

— А что нам знать, мы люди темные, — начал было Викул Микул, но не удержался и принялся рыться в кармане лузана. Оглядевшись по сторонам, он извлек оттуда аккуратно сложенную листовку, осторожно развернул узловатыми пальцами и, словно оправдываясь, сказал:

— Вот... Подобрал одну, может, что нужное написано. Да не силен я в грамоте. Известно, мужик не ученый — что топор не точеный. Помоги, служивый, прочитать. Только, ради бога, осторожнее! За эти самые бумажки и хватали давче людей. Хочется знать, что в них написано.

— Стражников не видать, — успокоил его Макар. — У девушки помоложе глаза, она прочтет, а мы послушаем. Домна, прочтешь нам?

Они отошли подальше от посторонних, и только тогда вычегодский сплавщик протянул девушке листовку, одну из тех, что после обедни кружились на соборной горе.

Крупными буквами на ней было напечатано: «Товарищ! Прочитай и передай другому!»

Домна стала читать.

— «Второй год тянется война. Жить стало нечем. Не во что одеться... На фронте — кровь, увечье, смерть. Точно гурты скота, отправляют наших детей и братьев на бойню, — вполголоса читала Домна. — Виновата царская власть и буржуазия. Помещики и капиталисты на войне наживаются, не успевают считать барыши... Долой войну!»

Слушая листовку, Макар молча крутил усы. Викул Микул некоторые строчки просил повторить.

Наконец обратился к Макару:

— Как ты думаешь, правда здесь написана?

— Сам как считаешь? — спросил тот у Викул Микула.

— Да я что — серый мужик, пень мерзлый. А вот наш шурин как-то говорил: кто богатый — ему войны бояться нечего. От солдатчины он может деньгами откупиться. А для нас война погибель. И до нас, стариков, скоро доберутся. Как считаешь, служивый?

— Меня, безногого, не заберут. А вам придется, видно, понюхать пороху. Война — что водоворот, глотает и глотает людей. Настоящая адская печь, сколько ни подбрасывай, все сожрет!

— Сатанинская жизнь! — пряча в карман лузана листовку, сумрачно заключил сплавщик.

На разбитых мостках показался Терентий. За плечами у него на веревочной перевязи висел мешок. Нищий медленно шел по обжорному ряду. Его преследовали ребятишки, выкрикивая озорно:

— Терень, спляши! Спой что-нибудь, Терень!

Макар подозвал нищего к себе и спросил:

— Куда это ты собрался, дружок?

— На пароход! — деловито ответил тот.

— Не хочешь больше кирпичи делать Гыч Опоню?

— К бесу его! Судиться еду! Вон сколько собрал бумаг! — Из кучи обрывков газет и разных бумажек в мешке Терентий выбрал листок, развернул и сделал вид, что читает.

— Вниз головой держишь! — рассмеявшись, ткнул пальцем в бумажку парень с балалайкой, подошедший посмотреть на потешного человека.

— Здесь все законы прописаны! — отрезал Терентий.

— Постой, дядя... Покажи-ка свою бумажку! Где ты ее взял?

— Под соборной горой немало валяется. Хочешь — бери. — Терентий подал парню листовку.

Парень прочитал и спросил:

— А еще есть у тебя такие бумажки?

— Много.

— Дай их нам.

— А что дашь? Копейка есть?

— Найдем копейку.

— Не обманываешь?

— Нет, бери!

И когда парень с балалайкой положил нищему на ладонь копейку, тот с недоверием начал разглядывать монету. В эти минуты его глаза смотрели осмысленно. Они у него были голубые, как у ребенка. И сам он был похож на большого ребенка, которому дали занятную игрушку и он боится, не отберут ли у него обратно.

— Что, не нравится моя копейка? — со смехом спросил парень.

— А не побьешь?

— Нет же! Только покажи, как ходит пристав.

Терентий спрятал копейку в рот, выпятил живот, надул щеки и важно зашагал. Гогочущая толпа тронулась за ним. Наседая на нищего со всех сторон, кричали:

— Не спеши, Терень, не спеши!

— Шары вылупи, как настоящий пристав!

— Молодец! Вот позабавил славно!..

Вдруг кто-то из забавлявшихся крикнул:

— Терентий! А вон и сам пристав идет!

Заложив руки за спину, медленно спускался к рынку городовой. Время от времени он посматривал по сторонам.

Терентий увидел фуражку с красным околышем и бросился бежать. Он несколько раз с испугом оглядывался, махал руками, словно открещиваясь от нечистой силы, затем нырнул за лабаз и исчез из виду.

Дровосеки с уральских заводов, пошептавшись, тоже ушли от греха подальше.

Собралась уходить с рынка и Домна, но неожиданно чьи-то сильные ладони закрыли ей глаза.

— Ой, Проня! — увидев перед собой улыбающееся лицо парня, воскликнула Домна.

— Перепугалась?

— Еще бы! Подкрался, схватил, как медведь!..

— Не серчай, я хотел пошутить... Вон там торгуют гороховым киселем и сбитнем. Сходим, полакомимся.

Затем они стояли под навесом рыночного ларька и с аппетитом ели гороховый кисель, политый душистым конопляным маслом. Проня не переставал болтать:

— ...Я нарошно подкрался. Хотел проверить, узнаешь ли меня... Ах, какой вкусный кисель! Ешь досыта! Еще купим! Хочешь сбитня?

В старенькой, выцветшей рубашке, с непокрытой головой, Проня выглядел бодрым и свежим.

— Знаешь что? Пойдем к реке! — предложил он. — Там у меня есть любимое место — далеко кругом видно!

— Хочется спросить у тебя что-то, — лукаво посмотрела на парня Домна.

— Спрашивай.

— Только, чур, не вилять, а говорить прямо!

— Конечно! — неуверенно ответил Проня. Наевшись киселя и слизав с пальцев масло, он блаженно сощурил глаза, сказал с чувством: — Вкусно!.. Сегодня не ел еще!..

— Почему?

— Некогда было. Утром лошадь водил на пастбище, то да се...

— Это на соборной горе, что ли, пас лошадь?

— Нет же! Почему на соборной?

— Потому что я там тебя видела утром!

— Меня? — удивленно приподнял брови Проня.

— Тебя, конечно! После обедни... Ой, что там было!

— А что?

— Кто-то с колокольни сбросил листовки. Прибежали стражники. Кожевник носился как угорелый... Попадись ты ему в руки... Хорошо, что успел удрать...

— Кто? Я? — воскликнул Проня, всем своим видом выражая удивление. — Вот чудеса в решете! Зачем же кожевник станет гоняться за мной? И почему ты думаешь, что я там был?

— Потому, что своими глазами видела. Не оправдывайся, дружок!.. А ты, оказывается, здорово бегаешь!

— Что ты, что ты! Не во сне ли все это видела? — сказал Проня так искренне, что Домна заколебалась: «Неужели ошиблась?»

Проня между тем продолжал убеждать:

— Ты, конечно, обозналась — меня там не было. И больше никому ни гугу про это! А будешь болтать, могут подумать, что ты действительно говоришь правду. За такие вещи знаешь что грозит?

— Да я пока никому не говорила. Может, и обозналась, бывает ведь, — сказала Домна, пытливо следя за выражением его лица. Но тот смотрел прямо, без тени смущения, хотя в глазах и проглядывали смешливые искорки.

— Айда отсюда! — вдруг сказал Проня.

Он, кажется, заметил приближающегося городового и заторопился: а может, это Домне так показалось? Проня схватил ее за руку, и они побежали к берегу.

Стояли последние дни северного лета. Воздух был теплый. По заливчику прыгали солнечные зайчики. В светло-голубом небе плавали пушистые облака.

Проня с Домной добежали до крохотной баньки, прилепившейся на скате берега, и, порывисто дыша, остановились.

— Ну, как — нравится? Правда хорошо тут? — спросил Проня с широким жестом, словно хозяин всего пространства — и зеленого залива, и прибрежных пожен, и курчавого ивняка на противоположном берегу реки. — Луга какие! Трава выше пояса. Сам косил, знаю. Вот эти пожни — у протопопа, а выше — у пристава. А вон там, далеко, видишь желтый обрыв? Золотая гора там. Не бывала?

— Нет, не приходилось! — вглядываясь, куда показывал Проня, сказала Домна. Она хорошо видела высокий песчаный обрыв, а над ним густой бор. Проня рассказал ей, что старики говорят, будто река раньше протекала под тем берегом, подмыла его, образовав крутой песчаный скат. Когда он освещается солнцем, песок сверкает и переливается, как золотой. Поэтому и прозвали его Золотой горой. А еще раньше, в старину, его называли — Шойна Яг, Бор Мертвых. Почему? Проня не знал. Может быть, в те далекие времена там хоронили когонибудь?

— Раньше я с ребятами частенько туда бегал! — рассказывал Проня. — Бор там такой — не налюбуешься! Ходишь как по горнице: сухо, чисто, просторно. Прошлой весной там маевку проводили. Не слыхала? Мы с ребятами смотрели. Как раз николин день был. Народу собралось сотни две, а то и более. На высокую сосну подняли красный флаг. Песню пели «Смело, товарищи, в ногу!..». А затем стражники набежали, стали разгонять всех. Один, смешной такой, рыжий да бородатый, полез за флагом. А сучки на сосне заранее были обрублены. Мучался он, все портки подрал, смолой перепачкал. Потеха!..

— Слыхала, рассказывали. Говорят, ссыльные народ взбаламутили. Про них всякое рассказывают, — поправляя платок, заметила Домна.

— А что ссыльные, не люди? — быстро вскинув на девушку глаза, спросил Проня. — Они такие же, как мы с тобой. И не за плохие дела сюда попали, за правду пострадали.

— Откуда ты знаешь?

— Знаком я с одним, Мартыновым зовут. Он живет рядом с моей бабушкой. Рабочий большого завода. Сам из Перми. Боролся, чтобы лучше жилось рабочим, вот и сослали его. Я у него книжки беру читать. Сказку про царя Салтана на память выучил. Теперь я про Пугачева читаю — «Капитанская дочка». Не читала? Принес показать тебе, — вынимая из-за пазухи завернутую в чистую тряпицу книжку, продолжал Проня.

— И ты не боишься ссыльного?

— Зачем бояться? Он во сто раз лучше, чем иные наши, скажем, вроде моего или твоего хозяина, чтоб мор их подстрелил! А ты любишь книжки?

— Мало училась, не так уж бойко читаю, — призналась девушка, рассматривая книжку.

— Научимся! Я совсем не ходил в школу, а научился. Спасибо, Мартынов помог. Он меня читать по-русски учил, а я его по-нашему, по-коми, говорить. Хороший человек. Хочешь, познакомлю?

— Сказала же, боюсь я ссыльных!..

— Ладно, сама увидишь... Посмотри, что еще принес тебе, — извлекая из кармана небольшой узелочек, загадочно сказал Проня. Он развернул сверток, и на его ладони засверкали бусы.

— Откуда это? — воскликнула Домна. — Мы с сестрой весь город обошли, а таких бус не видели. Уж не стащил ли?

— Не бойся, — успокоил ее Проня. — В городском парке нашел, на траве валялись. Там любят гулять купеческие дочки. Вот и обронили, видать. Нравится — бери!

— Женишься — своей жене подаришь, — шутливо отказалась Домна.

— Моя жена поди еще и не родилась на свет. Долгонько придется ждать, — в тон ей сказал Проня. — Смотри, бусы-то зеленые! А моя бабушка говорит: этот цвет счастливый... Серьезно говорю: возьми. Мне они ни к чему.

Бусы и в самом деле были красивые. Они искрились, переливались густой зеленью. Домна принять подарок не решилась. Она знала обычай: если девушка принимает подарок, значит, обещает парню свою любовь. А у них какая любовь? Случайно встретились.

Домна вернула бусы и сказала Проне:

— Если из-за этого заставил меня бежать — напрасно старался, парень! Я и сама могу купить, что мне надо.

— Не уходи! — ласково попросил Проня. — Может, и не встретимся больше: меня в солдаты берут. Сестер и знакомых девушек у меня нет. Куда мне эти бусы? Может, когда взглянешь на них, вспомнишь непутевого Проньку. А не возьмешь, в воду брошу!

— Дело твое, хочешь — бросай... Правду говоришь, что в солдаты берут?

— А то нет?

Они постояли молча.

У Домны больно сжалось сердце. Почему? Она и сама не знала. Ей вдруг представилось, что этот паренек через какое-то время вернется без руки или ноги, как их Макар, а то и совсем не вернется, останется убитый где-нибудь на чу-

жой сторонке, под ракитовым кустом, как поется в песне.

— Чего замолчала? — спросил Проня, осторожно прикоснувшись к ее руке.

— Грустно стало. Сбираешься уезжать, и я думаю: завидовать тебе нечего, а вроде завидно.

— Чему завидовать? — угрюмо усмехнулся Проня. — Не в гости, чай, еду...

— Не в гости, понимаю.

— Да ты здорова ли сегодня? — удивился Проня. — И на лицо какая-то скучная, разговоры ведешь невеселые.

— С чего веселиться? Без песен рот тесен...

— Что-нибудь случилось? — забеспокоился Проня.

— Хочешь не хочешь, а хоть с котомкой иди милостыню просить...

Домна рассказала, как поцапалась с хозяином. Парень выслушал, тряхнул головой и сказал:

— Я бы на твоем месте знаешь что сделал? Котомку за плечи — и на пароход. Покатил вниз по Вычегде, полетел вольной птицей куда глаза глядят! По крайней мере, в других краях побываешь, на иную жизнь посмотришь. Может, на завод или фабрику устроишься... А здесь что тебе жить? Снова у поганого корыта стоять? Грязного белья богачей не перестирать! Ехать надо.

— Думала я про это, — тихо сказала Домна. — Мы как-то с матерью были в Устюге и в Архангельске. Она прислугой у богатых работала, а я помогала ей. В Архангельске в ресторане посуду мыла. Мама тогда была моложе, а теперь она не поедет. Тяжело ей по чужим углам скитаться.

— Поезжай одна.

— Мать оставлять жалко, — задумчиво чертя носком по песку, сказала Домна.

— Мать без тебя проживет, с ней старшая сестра останется. Ты для них теперь — лишний рот и обуза.

— Это верно, — согласилась Домна. — Сама так думаю.

— Знаешь что? — неожиданно предложил Проня. — Поедем вместе. До Котласа на пароходе, а дальше видно будет. Я тебе помогу. И ехать веселее. Будем книжки читать. Сколько нового, интересного увидим! Мне Мартынов рассказывал про большие города, фабрики, заводы. Хочешь своими глазами посмотреть?..

Мысль о поездке взволновала Домну. Не в ее характере было домоседничать. Любознательная, жадная до жизни, она рвалась душой к новому, неизведанному. В свободные минуты не раз она улетала в мечтах далеко-далеко в поисках счастья... В самом деле, что она могла ожидать дома?

— Когда новобранцев будут отправлять? — напряженно вглядываясь в далекую излучину реки, откуда обычно показываются пароходы, идущие из Котласа, спросила Домна.

— На днях, думаю.

— Поеду на том пароходе!

— И правильно сделаешь. — Садясь на песок, Проня пригласил: — Присаживайся! Я буду читать, а ты слушай, как Пугачев с барами расправлялся. Ух ты, как написано!

Они углубились в книжку, позабыв обо всем на свете.

Шагах в двадцати выше по берегу показался мужчина с веслом. Он сошел к опрокинутой кверху днищем легкой осиновой лодке-долбленке, перевернул ее, спустил на воду, сел и оттолкнулся от берега.

Когда лодка подплыла поближе, Проня заметил ее и, узнав сидевшего на корме человека, замахал рукой.

— Артемьевич, чолэм тебе! Далеко отправился?

— А, Проня, добрый день! — отозвался тот. — Денек сегодня чудесный, решил прокатиться... Не хочешь ли со мною?

— Знаешь, кто это? — тихо спросил у девушки Проня. — Мартынов... Поедем с ним? — И, не дожидаясь ее согласия, быстро вскочил на ноги. — Мы вдвоем, Артемьевич...

— Вижу, — добродушно улыбнулся ссыльный.

— Девушка тоже хочет покататься. Можно нам вместе?

— Лодка большая, уместимся. Спускайтесь быстро. — Мартынов подвел лодку носом к берегу.

Девушка была рада случаю прокатиться на лодке. Знакомый Прони не вызывал опасений. Да и Проня был рядом.

3

Усаживаясь в лодку, Домна пригляделась к мужчине и с удивлением признала в нем свидетеля вчерашнего происшествия в Кочпоне. Это он помог ей отогнать свирепого быка. Мартынов тоже узнал Домну и приветливо улыбнулся ей.

— Мы, кажется, уже встречались?

— То-то и я смотрю! — ответила Домна.

— Вместе против одного врага воевали. Так ведь? — Мартынов сильными ударами двухлопастного весла направил лодку из заливчика на стремнину.

— С кем это вы воевали, Артемьевич? — поинтересовался Проня.

— Три дня будешь ломать голову, а не додумаешься, дружок. Настоящую битву выдержали. Не так ли, любушка-голубушка? — лукаво подмигнул Мартынов. Домна не рассмеялась.

— Я не Любушка, а Домна. Воевали мы с быком, Проня. Такой злющий бычина, пудов на тридцать!

— Ты бы посмотрел, как эта птаха сражалась с тем чудовищем, — сказал Мартынов. — Если бы не она, бык растерзал бы мальчонку... Однако смелая ты, Домна. Отчаянная...

Проня рассказал, как из-за этого случая она лишилась работы.

— Ах, жила, ах, кулак, — возмущался Мартынов поступком Гыч Опони. — Но ты не унывай! Постараемся тебе подыскать работенку. Была бы голова на плечах, а хомут для нашего брата всегда найдется.

— Она уехать собирается, — сообщил Проня. — Я посоветовал: котомку за плечи и айда куда глаза глядят! Неужто лучше нашей жизни нигде нет?

— Куда глаза глядят не годится, — сказал Мартынов. — Если уж уехать, то куда-нибудь на фабрику, на завод.

— На одном пароходе ладимся ехать! — неожиданно выпалил Проня.

— И ты уезжаешь? — удивился Мартынов.

— Да, забыл тебе сообщить, Артемьевич. Вчера вечером принесли бумажку, в солдаты меня.

— И до тебя добрались?

— Добрались...

Помолчали. Мартынов, нахмурившись, усиленно заработал веслом. Затем спросил, словно продолжая прерванный разговор:

— Как там дела? В порядке?

— Ага.

— Бока не намяли?

— Обошлось, Артемьевич, — добродушно кинул Проня и, заметив настороженный взгляд Домны, сказал:

— А все-таки красивый наш город!

— Если смотреть на него вон с тех лугов, он действительно красив, прекрасное место выбрали первые поселенцы, — подхватил Мартынов.

Лодка плыла мимо Троицкого собора, высившегося куполами и крестами в окружении тополей и берез. Домна вспомнила, как утром здесь раздавались полицейские свистки, метались стражники, и сказала:

— Вон оттуда, с колокольни, как посыпались бумажки...

— Листовки, — поправил Проня.

— А ты откуда знаешь? Тебя же не было там, — оборвала его девушка.

— От людей слыхал...

— А я своими глазами видела, — возразила Домна. — Бумажки. И много, много!

— Разве не читала? Это же листовки были.

— Ладно, Проня, не перебивай, пусть расскажет. Ну и что дальше? Как народ встретил листовки?

— Ой, что там было! Все кинулись подбирать. Гомонят, толкаются, читают вслух...

— Под самым носом полиции, — рассмеялся Мартынов.

— И я удивляюсь, — восхищалась Домна, поглядывая на Проню. Но тот был невозмутим.

— Слава смельчакам, — весело заключил Мартынов.

Миновав соборную гору, лодка теперь плыла мимо глубокого оврага, служившего естественной границей между городом и его северной окраиной. За оврагом крупных зданий городского типа уже не было, виднелась лишь деревянная церквушка да разбросанные тут и там рубленые домишки.

Домна взглянула на солнце, давно перевалившее за полдень, ахнула:

— Ой, что я делаю! Сестра, наверно, заждалась, и мать будет беспокоиться. Высадите меня на берег, побегу.

Миновав овраг, Мартынов подогнал лодку к каменистому берегу. Помогая девушке выйти на сушу, Проня спросил у нее:

— Выходит, договорились насчет поездки?

— Посоветуюсь с домашними, тогда и скажу, — пообещала Домна. — Вас когда будут отправлять?

— Дня через два.

— Прощайте! — Домна помахала рукой Мартынову.

— Постой, чуть не забыл! — спохватился Проня и, порывшись, вытащил из кармана бусы.

— Бери, говорю, сохрани у себя! — сказал он и добавил тихо: — Или, честное слово, заброшу вон туда, на середину реки.

Домна застеснялась Мартынова. Но тот, словно не замечая молодых людей, наблюдал, как в прозрачной воде бойко шныряли рыбешки.

Принимая зеленые бусы, Домна сказала чуть слышно:

— Спасибо! Мы еще встретимся...

Девушка побежала в гору по утоптанной тропинке, по которой ходили к реке за водой.

Поднявшись на берег, Домна остановилась и, часто дыша, смотрела на удаляющуюся лодку. С высокого крутого берега ей хорошо было видно, как лодка пересекла реку и начала под-

ниматься вдоль отлогого песчаного берега, где течение было медленнее. На корме теперь сидел Проня. Он легко и уверенно работал веслом — широкоплечий и сильный, как сказочный богатырь Перя[1].

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕД

1

В большой двухэтажный дом Космортовых, стоявший на живописном месте у заливчика, гости стали собираться вскоре после обедни.

Кондрат Мокеевич пожимал гостям руки, приглашал рокочущим баском:

— Прошу в зал! Покурите, отдохните, пока собираются. Будьте как дома...

Несмотря на свои почти шестьдесят лет, он выглядел еще крепким, как дуб. Был рослый, с внушительной раздвоенной бородой. Его смугловатое лицо с широкими в меру скулами можно было бы назвать даже приятным, если бы не глаза — острые, ястребиные, под темными кустистыми бровями, похожими на пучки перьев. Руки, в молодости ловко орудовавшие топором на заготовке сортового леса, теперь вылезали из рукавов дорогого сюртука и казались чужими, длинными. И когда хозяин, по-дружески обняв кого-нибудь из близких гостей, провожал его до гостиной, казалось, что это хищный сыч вонзил когти в очередную жертву.

В просторном и светлом зале, где были накрыты два длинных стола, гостей встречала молодая чета: архитектор Михаил Кондратьевич и его супруга Софья Львовна, одетые со вкусом, по-столичному. Он был в черном фраке из тонкого английского сукна, в ослепительно-белой сорочке, галстуке бабочкой и лакированных штиблетах. Она — в бальном платье, отделанном тонкими дорогими кружевами, с массивным золотым кулоном на груди. Волосы, причудливо уложенные высокой башенкой, оттягивали ей назад голову.

Софья Львовна принимала гостей величаво, словно английская королева, не утруждая себя поклонами. Лишь когда в дверях показался Латкин, она приветливо кивнула ему и протянула холеную руку в белой кружевной перчатке.

— Как мы рады, Степан Осипович, видеть вас у себя!

Латкин галантно поклонился, поцеловал ручку даме и похвалил ее прическу. Довольная Софья Львовна слегка возразила:

— Ах, милый друг, не льстите мне!.. Я здесь совсем опустилась, перестала за собой следить. — И, обращаясь к мужу, сказала томно: — Мишель! Не давай скучать нашему другу...

Софья Львовна говорила немножко в нос, в французской манере. Происходила она из некогда весьма почтенного дворянского рода, чем весьма гордилась, хотя род ее давно разорился и захирел. Училась в модном по тому времени училище живописи, ваяния и зодчества, где и познакомилась с молодым Космортовым. Ее родители вначале и слушать не хотели, чтобы породниться с каким-то «туземцем», как они за глаза называли своего будущего зятя. Но молодой зырянин оказался способным и к тому же денежным человеком, блестяще выдержал экзамен в императорскую Академию художеств. Его считали талантливым, прочили прекрасное будущее, а Софья Львовна при всей своей дворянской спеси была все же бесприданницей и своему будущему супругу ничего, кроме сильно потускневшего герба, принести не могла... Это и решило все — Софья Львовна, или, как ее называли в семье, Софи, стала его женой.

Сын известного купца-прасола, Латкин тоже не знал нужды в деньгах, и земляки-студенты частенько встречались в столичных кабачках или ресторациях, оба пристрастились к цыганскому хору и, в общем, не скучали. Они и сейчас были на короткой ноге, хотя и занимали разное положение в обществе. Во всяком случае, оба делали вид, что не забыли студенческие годы.

Михаил Кондратьевич, подхватив Латкина под руку, проводил его через весь зал к окну, из которого открывался вид на Сысолу, на Медвежий луг и на дальнюю Золотую гору с ее сосновым бором. Они поговорили о том, о сем, пошутили с Гыч Опонем, который одним из первых пришел сюда — большой и неуклюжий, в сапогах гармошкой и с расчесанными на обе стороны, обильно смазанными лампадным маслом волосами.

— Ну, как, Афанасий Петрович, будем сегодня танцевать падеспань? Или мою любимую польку-бабочку? — от нечего делать потешался над Гыч Опонем Латкин. В тщательно отутюженном костюме, выбритый и подтянутый, он выглядел щеголем.

— Погожу ужо! — широко улыбнулся Гыч Опонь. — Мы свое уже отплясали, Степан Осипович. Пора о другом думать, хи-хи!..

— Не хитри, человече! Небось не пропустишь... — начал было Латкин и остановился на полуслове: в дверях показался купец Суворов со своей молодой женой.

---

[1] Перя — герой из популярной коми сказки «Богатырь Перя». Он совершает ряд удивительных подвигов.

Как на крыльях, подлетел к ним уездный агроном. Супруга Суворова, тонкая и стройная, с пышными белокурыми косами, уложенными вокруг головы, подарила Латкину очаровательную улыбку. Улучив момент, когда Суворов отвернулся от них, Латкин шепнул ей на ухо:

— Мария Васильевна, вы сегодня удивительно похожи на русалку!

Вслед за четой Суворовых появился, скрипя сапогами, лысеющий воинский начальник Драгунов со своей пухленькой женой с ямочками на щеках. Затем, кланяясь на ходу, стремительно вошел акцизный чиновник. Пришли чиновники из казначейства, служащие почты, другие многочисленные гости. Не было пока исправника и протопопа, дружбой с которыми хозяин особенно дорожил. Без них Кондрату Мокеевичу не хотелось садиться за праздничный стол.

В ожидании обеда гости слонялись по дому, осматривали комнаты, мебель. Другие, собравшись в кучу, курили, обсуждая события, разыгравшиеся утром у старого собора. Подробностей никто не знал, и все с нетерпением ждали прихода исправника, который по своему служебному положению должен знать все.

Стены гостиной были оклеены обоями с золотым тиснением. На окнах колыхались тюлевые занавески. На видном месте стояло трюмо в резной рамке, почти упиравшейся в потолок. Перед столиком лежала шкура бурого медведя, а на стене висел старинный герб города Усть-Сысольска с изображением медведя. Вдоль стен выстроились массивные стулья, обитые дорогим штофом. В стороне стоял рояль.

— В молодости, говорят, Кондрат Мокеевич хаживал на медведей... Это не его ли охотничьи трофеи? — трогая носком сапога шкуру медведя, спросил Драгунов.

Латкин усмехнулся:

— Насколько я знаю, Кондрат Мокеевич предпочитает снимать шкуры, не рискуя своей особой.

— Умеют жить-с! — сказал воинский начальник.

— Умеют жить? — передернул плечами Латкин. — Я знаю село на Вычегде, которое он разорил до нитки! Все лесорубы его боятся. Здесь, на Севере, он чувствует себя удельным князьком.

Хозяин дома несколько раз озабоченно выглядывал в окно, не показались ли долгожданные гости. Но ни протопопа, ни исправника не было.

— Где Пронька? Пронька куда запропастился? — спрашивал он у жены, метавшейся по дому.

— Гуляет твой рекрут, его и с собаками не разыщешь, — с раздражением отвечала она.

— Бессовестный! — возмущался хозяин. — Получил извещение и обрадовался, что идет в солдаты.

Тем временем Софья Львовна показывала дамам альбомы со своими акварельными рисунками. Рисовала она недурно. Гости с интересом рассматривали рисунки, наброски, сделанные в Петрограде и уже здесь, в Усть-Сысольске.

В альбоме были и рисунки Михаила Кондратьевича, набросанные вчерне, над которыми он собирался поработать у себя в Петрограде.

— Вы знаете, Мишель — горячий патриот своего края, — снисходительно говорила Софья Львовна. — Посмотрите, сколько разных рисунков! Он так уговаривал меня ехать сюда. Признаться, я боялась: в такую даль и глушь, боже мой!.. А как вам нравится этот портрет зыряночки? Мишель, скажи, пожалуйста, где ты разыскал эту красавицу?

— У дяди на кирпичном заводе. Мне понравилось ее лицо. Согласись, Софи, у нее волевые черты и чувствуется сильный характер.

— Мишель, не говори глупостей: какой может быть характер у чумазой девчонки? Впрочем, если она тебе нравится, подпиши внизу: «Очаровавшая меня красавица».

Софья Львовна улыбнулась собственной шутке, и ее улыбка мгновенно отразилась на лицах окружающих дам. Смех вызвали и наброски Софьи Львовны. Под одним было подписано: «В гостях у кочпонского дядюшки». На рисунке за столом сидели человек шесть и деревянными ложками хлебали из огромной общей миски. На другом были изображены полати и написано. «Опочивальня дядюшки». Набросков было много, и во всех сквозила нескрываемая ирония.

— Софи! Зачем показывать всякую чепуху? — запротестовал супруг.

— Милый, ты напрасно сердишься. Я тебе всегда говорила: это же уникальные вещи, воспоминания на долгие годы, — возразила Софья Львовна, продолжая показывать свои зарисовки. — А вот это узнаете кто? Наш папа. Я запечатлела его во время отдыха. Как находите?

Рисунок, который держала в своих руках Софья Львовна, был тоже выполнен акварелью и подписан: «Папа отдыхает». Кондрата Мокеевича можно было узнать с первого взгляда. Он восседал в кресле, как на троне, довольный собой.

— Похож, очень похож. И такой, знаете ли... Как бы сказать... э-э-э?.. — прицениваясь, как к товару в магазине, осторожно пробасил Суворов и, не найдя подходящего слова, покрутил пальцами около своего хрящеватого носа.

Домна оттолкнула его руку и, выведенная из терпения, крикнула:

— Что вы — оглохли, идолы? Чтоб вас раздуло от этого чая! Подавитесь вы им! Да ведь таких и холера не возьмет! — все более распаляясь, честила их Домна.

Поднялся шум, начали собираться новобранцы, угрюмые взгляды которых не обещали ничего хорошего. Тогда унтер поднялся, широко расставил ноги и рявкнул:

— Разойдись! А ну, марш по местам!

Кто знает, чем могло кончиться для Домны все это, если бы не подошел матрос и не сказал:

— Эй, ты, кудрявая! Тебя вызывают в салон первого класса. Там барыня расхворалась. Приказано, чтобы ты явилась в чистой одежде.

Домна, уже остывая, бросила:

— Погодите, и на вас найдется управа! — и пошла выполнять приказание своей новой хозяйки...

3

В салоне первого класса, куда, переодевшись, явилась Домна, в кресле полулежала жена архитектора. Она была в шелковом китайском халате ручной вышивки. Концы пояса халата небрежно свисали до полу. Склонив набок голову и беспомощно опустив руки с тонкими длинными пальцами, она чуть слышно охала. Около нее суетился Михаил Кондратьевич. Тут же в салоне был и Латкин. Он стоял в глубине, у окна, и, засунув руки в карманы, со скучающим видом наблюдал однообразный пейзаж.

— Воды! Компресс на голову! — сердито приказал Домне Космортов.

Домна оторопела. С чего это он так? Всетаки свой человек, коми...

— Что, не поняла? Воды, компресс! Побыстрее!

— Ах, Мишель! — приоткрыв глаза, простонала жена. — Зачем компресс? Ты же знаешь, у меня мигрень. Где мой мигреневый карандаш? Ах, как мне тяжело. Кажется, я скончаюсь.

— Уважаемая Софья Львовна! Вам надо отдохнуть, тогда утихнет и боль, — посоветовал Латкин. — Вам лучше отправиться в каюту и прилечь.

— Доктора мне, Мишель! — снова простонала жена архитектора и, вдруг выпрямившись в кресле, прикрикнула: — Да побыстрее поворачивайся, тюлень несчастный!

— Но, дорогая Софи! — взмолился муж. — Пойми — мы на пароходе. Я спрашивал у капитана — доктора у них нет. Здесь только мы и новобранцы.

— Не говори мне про них! Боже мой! Весь день простоять на пристани из-за этих мерзких голодранцев.

— Кто мог подумать, что народ вздумает шуметь?.. Разреши, Сонечка, я сам поухаживаю за тобой! — Архитектор начал натирать жене мигреневым карандашом виски.

— Так и знай, что я в первый и последний раз в вашем Усть-Сысольске. Ах, если бы ты знал, как болит голова! Подай папироску, — устало попросила Софья Львовна, поудобнее устраиваясь в кресле.

Домна, убирая всюду разбросанные вещи, с удивлением наблюдала за капризами барыни.

— Да, Мишель, — затягиваясь папироской, сказала жена. — Хватит с меня и того, что я видела и пережила тут. Дикари, а не люди! Самоеды!

— Зачем так строго, Софи, — мягко заметил муж. — Самоеды живут в тундре, а здесь зыряне. Я объяснял...

— Ах, не все ли равно, — отмахнулась она и повернулась к мужу спиной.

— Степан Осипович, — обратилась Космортова к Латкину, — послушайте, что я наблюдала в гостях у дяди в Кочпоне. Кошмар! Тараканы, духота. Едят все из одной посуды, облизывая ложки. А свой дурацкий рыбник берут пальцами... Брр!

— Софи! Зачем при посторонних, — нервно передернулся Космортов.

Но та безжалостно продолжала:

— Степан Осипович, скажите, правда ли, что у вас все вместе ходят в баню?

— То есть, как все вместе?

— Мужчины, женщины, дети, старики, старухи...

— Вранье! — круто повернувшись, довольно резко ответил Латкин. Ему надоел этот глупый разговор. — Не смею спорить, может быть, где-нибудь в глуши и можно встретить нечто подобное, но вряд ли. Зато, скажу, здесь народ честный и скромный. Живут, не зная замков и запоров: уходя из дому, кладут поперек двери коромысло — знак того, что все ушли, — и этого достаточно, чтобы в дом никто не вошел. Более того. Охотники иногда оставляют в своих лесных амбарчиках дичь, меха, всю свою добычу за охотничий сезон. И никто не тронет.

— Ну да! Рассказывайте! А сегодняшнюю историю с новобранцами как прикажете понять? Будь моя власть — шомполами и сквозь строй!

— Милая Софья Львовна, теперь так нельзя, — возразил Латкин.

— Иногда пожалеешь, что нельзя, — сказал архитектор. — У тебя еще не выветрилась студенческая дребедень: просвещенный век,

ним. Однако он и глядеть не хочет на мои закуски. И к вину не притрагивается. У меня, говорит, своего достаточно, пожалуйста, не беспокойтесь. Что ты с ним поделаешь?..

Ну, думаю, дела скверные. Задаст этот сморчок звону нашей фирме, не миновать крупных штрафов и убытков. А разве договоришься с ним, коли он нос свой воротит от коньяку? Так и ходим по лесу, от делянки к делянке: он со своими лесниками да объездчиками, а я за ними вслед. Сначала ничего, на ближних делянках сравнительно хорошо все было. А затем стали попадаться бревна контрактового размера — валяются у пней, не вывезены. Лишние, что ли, оказались?.. Затем наткнулись на просеку, вся захламлена вершинником да сучьями. Нашли и недорубы, и многое другое, что по их правилам подлежит штрафу. Виноват во всем мой приказчик. Всю зиму он пропьянствовал, в лес не заглядывал, и получилась эта самая петрушка. Почесываю я затылок, а лесничий знай строчит протокол за протоколом, что где обнаружено на делянках. Ах, думаю, беда-то! Как же быть? Лисой кручусь вокруг лесничего, нельзя ли, говорю, как-нибудь договориться нам с вами? Наша фирма не любит скандалить с лесным ведомством. Зачем нам портить хорошие отношения?.. И, между прочим, улучил момент, шепнул ему: могу, мол, и две «катеньки» [1] отвалить по такому случаю. А он и слышать не желает, будто не две сотни, а две копейки ему предлагают.

Так мы обошли с ним почти все делянки. Наступил вечер. Решили заночевать у какого-то лесного озера. По берегам трава густая, высокая, комарья в ней полным-полно...

Лесничий довольно потирает руки и говорит, посмеиваясь:

— Вот это ревизия будет! Придется вашей фирме уплатить штраф этак примерно тысячи на полторы, а то и больше. Ничего, впредь вам неповадно будет безобразничать в лесу.

— Да, — говорю, — верно, нехорошо получилось. Но если бы уважаемый лесничий сквозь пальцы кое на что посмотрел, может быть, и вам и нам на пользу пошло?..

— Нет, нельзя! — как отрезал лесничий и приказал лесникам устраивать для него ночлег. Я снова к нему подкатываюсь:

— Почему же нельзя? Нельзя только на небо залезть, а остальное все можно, — говорю ему, а сам как бы не нарочно перебираю между пальцами хрустящие новенькие сторублевки.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он. — У вас свои интересы, у казны тоже. Я государственный служащий, обязан строго соблюдать интересы казны. Понятно вам?

— Понятно, — отвечаю, улыбаясь, а на душе кошки скребут.

— Вот так, папаша. Спокойной ночи вам! И никогда больше не предлагайте взятку. Это мерзко и унизительно. Я человек честный и не хочу пачкать руки вашими деньгами...

«Эх, черт бы тебя побрал с твоей честностью!» — думаю. Попросил извинения за беспокойство и пожелал ему спокойного сна.

— Ничего, ничего! — говорит он примирительно. — Только в другой раз давайте уж без этого... Не меряйте людей на свой аршин.

На том и разошлись мы. Он прилег на свою походную постель, а я поблизости натянул полог и тоже стал устраиваться отдыхать. Как-никак, а за целый день порядком умаялся. А что касается лесников, те устроились в сторонке кормить комаров.

А вечер теплый такой, тихий, лист не шелохнется. От озера прохладой тянет. От елок хвоей пахнет, не надышишься. Да только с заходом солнца комаров и мошек повылезло — спасу нет. Вот тогда и началось самое интересное. — Кондрат Мокеевич крякнул и погладил расчесанную на две стороны бороду. — Летом я всегда таскаю с собой легонький полог, натяну на складной подрамник и храплю себе спокойненько. У лесничего же с собой только накомарник был, да и тот, когда днем бродил по лесу, порвался, не спасает от мошкары...

Лежу я в своем пологе, посматриваю, как он там себя чувствует на воле. А он, бедняга, то высунет нос из-под одеяла, то обратно скроется. Видать, душно ему, а приоткрыть нельзя — мошкара тучей висит над ним. Дальше — хуже! Велика ли мошка, а замучала человека. Она и в нос, и в рот ему лезет, и под рубашку забирается. Слышу, чертыхается он там, и так и этак пробует укрыться, как юла вертится. Часа два он так мучался, наконец не выдержал, вскочил, начал отмахиваться одеялом.

— Спишь, Кондрат Мокеевич? — спрашивает меня.

— Сплю, — отвечаю.

— Мошкара тебя не беспокоит?

— Нет, — говорю.

— А я замучался. Спаси, ради бога, пока я не сошел с ума, — взмолился он.

— Но, дорогой коллега, вдвоем здесь мы не уместимся, — отвечаю ему. — Право, не знаю, что и делать?

А он упрашивает:

— Два дня брожу по лесу, на ногах еле стою. Необходимо отдохнуть по-настоящему. Что хочешь проси за свой полог...

[1] «Катенька» — сторублевый кредитный билет, на котором был напечатан портрет Екатерины II.

— Что ж, — говорю, — могу уступить полог. Только уничтожь свои протоколы.

Он помолчал, помахал одеялом и сказал решительно:

— К черту все! Вылезай из полога!

— А как насчет протоколиков?

— Ладно! — говорит. — Завтра видно будет. Не пропадать же мне здесь из-за них. К чертям собачьим все.

— Это вы серьезно? — спрашиваю его.

— Какие могут быть шутки? — отвечает. — Вылезай скорее...

Я, понятно, мешкать не стал, пулей из полога и предлагаю ему:

— Пожалте-с! Отдыхайте себе на здоровьице. А я как-нибудь так обойдусь, костерчик разведу, дымком спасаться буду...

Он без лишних слов нырнул под полог.

Утром просыпается лесничий, говорит мне:

— Ну, Кондрат Мокеевич, переломил-таки меня. Человек я такой: слово дано, надо выполнять. Видишь протоколы? Вот они! — сказал он и швырнул бумаги в огонь.

Только тогда я вздохнул облегченно. Шутка сказать — полторы тысчонки штрафу фирме... Понятно, фирма не осталась в долгу, отблагодарила меня, жалованье прибавила... А вы говорите — комары! Я на них не в обиде, — рассмеялся хозяин.

Ему вторили гости. Среди общего смеха выделялся визгливый голос Гыч Опоня.

Рассказ Кондрата Мокеевича произвел на Латкина неприятное впечатление.

— Я бы, Кондрат Мокеевич, не стал рассказывать про это, — сказал он жестко, когда за столом наступила сравнительная тишина.

— Почему? — искренне удивился Космортов-старший. — Разве это не смешная история?

— На мой взгляд, смешного ничего нет. Лесничий хотел быть честным человеком, но вы ему оказали плохую услугу.

— Почему? Если фирма не пострадала, то и он не остался в убытке. А что касается неубранного валежника, да мало ли его валяется. Слава богу, лесов нам не занимать. Хватит и на наш век, и еще лет на пятьсот.

— Я о совести человеческой.

— Не знаю, как у вас, господа, а у меня, сознаюсь, во рту пересохло, — громко сказал Суворов, чтобы замять неприятный разговор... — Я придерживаюсь одной заповеди: не зевай! Особенно тогда, когда рюмка сама смотрит на тебя. Посему предлагаю выпить за здоровье наших гостеприимных хозяев, чтобы жили счастливо и ныне, и присно, и во веки веков!

В зале стало душно, пришлось настежь распахнуть окна. Молодые люди отодвигали столы, стулья, освобождая место для танцев.

Завели граммофон. Из блестящей трубы полились звуки вальса. Латкин молодцевато подскочил к Суворовой и, раскланявшись, попросил разрешения повальсировать с ней. Та, вскинув голубые глаза на мужа, улыбнулась ему ласково и, шепнув что-то на ухо, упорхнула с кавалером.

Латкин слыл неплохим танцором, а сегодня был особенно в ударе.

— Русалочка! — вполголоса нашептывал он, осторожно поддерживая ее за талию.

— Ах, что вы, Степан Осипович? Разве можно так? — кокетливо шептала Мария Васильевна. — А что скажет ваша жена?

— Думаю, она не скучает у себя там и, вероятно, тоже вальсирует с кем-нибудь. И бог с ней... Я рад, что танцую с вами, моя русалочка.

В городе знали, что уездный агроном женат на какой-то помещице, с которой познакомился, будучи еще студентом. Теперь они жили порознь. Почему? Об этом разное говорили, но сам Латкин предпочитал помалкивать. Разгоряченный вином и музыкой, он кружил и кружил свою русалку, чувствуя на своей щеке ее горячее дыхание.

Хозяин дома, довольный удачным званым обедом, с интересом наблюдал за танцующими парами, среди которых чаще всего перед его глазами мелькал щеголеватый уездный агроном со своей дамой.

Кондрат Мокеевич хотя и был членом городской думы, однако о служебной деятельности Латкина имел весьма неопределенное представление. Да и в самом деле, едва ли кто мог толком рассказать, чем занимается уездный агроном? Ходили слухи, что где-то вблизи города выделен опытный участок, устраивается случной пункт и еще что-то, но никто этому не придавал значения. Есть должность уездного агронома, ну и бог с ним, пусть человек получает жалованье.

Размышляя теперь обо всем этом, Кондрат Мокеевич, человек практического склада ума, рассудил про себя: «Не знаю, как он там по службе, а ногами работать наш агроном весьма горазд! Впрочем, палец в рот ему не клади — откусит».

3

Веселье в доме Космортовых было в разгаре, когда наконец показался отец Яков со своей матушкой. Граммофон, отчаянно взвизгнув на высокой ноте, замолк, и танцы прекратились. Кондрат Мокеевич, встречая батюшку, подошел и, склонив седеющую голову, попросил смиренно:

— Благослови, отец!

После этой церемонии хозяин торжественно проводил новых гостей к столу. Отец Яков, шурша лиловой шелковой рясой, подошел, широким взмахом руки благословил все, что было на столе, и важно уселся. Прислуга принесла в больших фарфоровых мисках горячие пельмени, без которых на Севере не обходится ни одна пирушка. Подали жареную телятину, цыплят, дичь.

Отец Яков был не в духе. Ел он молча, сосредоточенно, хмуря густые черные брови. И хотя многим не терпелось узнать новости, никто не осмеливался беспокоить его расспросами, пока он сам не заговорит. Чтобы развязать язык, сидящие рядом усиленно подливали ему коньяку, предлагая выпить то за здоровье батюшки с матушкой, то за счастье молодых Космортовых.

Отведав пельменей и жареного цыпленка, отец Яков извлек из кармана рясы клетчатый платок, внушительно высморкался и, вытирая нос, губы и свою апостольскую бороду, спросил у хозяина:

— Слыхали, Кондрат Мокеевич, какие чудеса творятся в нашем городе?

— А что такое, батюшка? Слыхал, какие-то злоумышленники вздумали с колокольни собора раскидывать листовки.

— Крамольные листовки! Подумать только: храм божий, собор святой троицы и эта пакость!

Отец Яков оглядел гостей, пожевал пухлыми губами и снова засунул руку в карман широкой рясы.

— Здесь, кажется, все свои? — спросил он и, вынув листовку, бросил ее перед собой, словно та обожгла ему пальцы. — Вот эта пакость!

Листовка оттеснила все другие разговоры. Гости, вполголоса возмущаясь наглостью неизвестных злоумышленников, тянулись к листовке, чтобы посмотреть на нее.

Латкин прочитал листовку, повертел в руках и, пожимая плечами, сказал:

— Мне недавно показывали газету «Социал-демократ», перехваченную полицией. Любопытный номерок, доложу вам! Во многие умы она внесет смятение.

Вокруг него оживленно заспорили, высказывая разные суждения о том, какие трудности переживает отчизна и что можно ожидать впереди. Отец Яков, отпив маленькими глотками десертного вина, прокашлялся и властно поднял руку, взмахнув широким рукавом рясы.

— Теперь, когда решается судьба отечества, — сказал он, едва шум утих, — служители церкви не могут стоять в стороне от мирских дел. Мы призываем всех объединиться под священный стяг, на котором начертано: православие, самодержавие и родина! Надо отбросить распри, которые есть, и всем с именем бога взяться за укрепление основ государства. Враг коварен, он пытается внести смятение в умы православных людей. Пример тому сия богопротивная листовка. Я призываю вас помочь властям найти носителей этого зла...

— Разве не поймали их? — спросил кто-то из гостей.

— К сожалению, нет! — ответил отец Яков.

— Обстановка, конечно, сложилась трудная, — продолжал Латкин после того, как протопоп с другими любителями карт удалились в соседнюю комнату играть в пульку. — Общество волнуют два вопроса: долго ли продолжится война и в силах ли правительство продолжать ее?

— Не оставит нас господь в беде и не даст в обиду супостату, — сказал Гыч Опонь.

— Россия-матушка сильна, не так-то просто ее проглотить, — заметил Суворов, наливая себе водку. Выпив ее залпом, он подцепил вилкой кусок семги и, пожевав, добавил заплетающимся языком: — Мы... мы будем рубиться до последнего!

— Но ведь и Германия, надо думать, мобилизует все силы, — возразил ему Драгунов, тоже потянувшись с вилкой к семге.

Шум за столом усилился. Подвыпившие мужчины азартно заспорили. Каждый старался перекричать другого, как обычно бывает, когда разгораются страсти, подогретые вином.

Перестав играть ложкой, архитектор встал из-за стола, взял серебряную папиросницу, закурил.

— Господа! — обратился он к расшумевшимся гостям. — Позвольте рассказать, что мы наблюдали с Софьей Львовной по дороге сюда. Проезжая Россией, убеждаешься, какая это огромная и сильная держава. Война почти не затронула нас.

— Да, да, в наших деревнях все по-старому, люди живут, как и раньше, — затягиваясь папироской, подтвердила его супруга.

— Вот об этом я и хотел сказать, — подхватил архитектор. — Наша деревня от войны экономически не пострадала, хотя и ушли воевать миллионы мужиков.

— Не только не пострадала, но стала жить лучше, — сказала Софья Львовна, подойдя к мужу.

— Да, да, моя дорогая, ты, конечно, права! — согласился архитектор. — Хотя это и кажется парадоксальным. С началом военных действий правительство распорядилось закрыть винные лавки. А это значит, что у крестьянина стало меньше расходов. Во-вторых, он теперь

не покупает ни керосину, ни сахару, ни всего иного, на что раньше тратил немалые деньги. Следовательно, опять экономия. Таким образом, у крестьян накапливаются свободные рубли, и они живут лучше, зажиточнее, чем до войны... Степан Осипович, не улыбайтесь, пожалуйста, — сказал архитектор Латкину. — Подождите, я еще не кончил. А теперь посмотрим на Германию, господа. Если вы следите за юмористической прессой, вероятно, заметили, как там сейчас высмеивается так называемый мужчинский кризис. Всех мужчин из Берлина отправили на войну, остались старики и подростки. Возьмем Францию. — Молодой Космортов высказывал обычные столичные сплетни таких же недалеких людей, как и сам, для которых война была отвлеченным понятием, предметом разговоров на сытый желудок. Раскурив потухшую папироску, архитектор продолжал: — Так вот, значит, Франция! В одной газете недавно писали, что в Париже женщин в несколько раз больше, чем мужчин. По сравнению с мирным временем количество браков снизилось на семьдесят два процента. А в Германии льготы в отношении воинской повинности совершенно такие же, что и во Франции. Следовательно, — подняв палец, подчеркнул Космортов-младший, — что мы видим во Франции, неизбежно должно быть и в Германии. Таков логический вывод. У нас разве имеет место что-нибудь подобное?

— Ты прав, Мишель, — пропела в нос его супруга. — Когда мы ехали сюда, я своими глазами видела — на вокзалах полно молодых, здоровых носильщиков. На пристанях та же самая картина. А зайдешь в ресторан, к тебе подбегает несколько лакеев. И все крепыши на удивление!

— Совершенно верно, милая. — Архитектор коснулся губами руки своей жены и торжествующе посмотрел на гостей. — О чем говорит все это, господа? О том, что людские резервы у нас колоссально велики! Можно сказать, неисчерпаемы! И мы можем воевать, сколько понадобится, чтобы довести войну до победного конца! — эффектно, под аплодисменты, закончил Космортов.

Восторженно хлопал ему и Кондрат Мокеевич, который, оставив преферанс, вышел посмотреть, чем заняты остальные гости.

Еще не стихли аплодисменты, как поднялся Латкин. Резким движением отодвинув тарелку, он спросил:

— В Петрограде все так думают?

— Конечно!

— О, святая простота! — развел руками Латкин. — «Носильщики на вокзалах, лакеи в ресторанах». Так рассуждать — значит, не видеть, что происходит в стране... Армия сдает неприятелю город за городом! Выпуск продукции резко снижается, и совсем не так хорошо живут в деревнях, как кажется со стороны. Правительство явно не в состоянии вести войну... если не будут приняты кардинальные меры.

— Что вы хотите этим сказать, милейший?

— Только то, что необходимы изменения социального порядка! Надо открыть путь демократическим преобразованиям.

— «Свобода», «демократия»... Это теперь в моде! — неодобрительно покосился на Латкина архитектор. — Но, уверяю вас, без твердой руки монарха все пойдет прахом. Россия погибнет. Неужели вы хотите видеть ее поверженной перед врагом?

— Ни в коем случае! — запальчиво воскликнул Латкин. — Но если мы хотим разгромить врага, то руководить страной должны сильные и умные люди, а не юродствующие во Христе старцы!..

Наступило неловкое молчание. Было нетрудно понять, кого имеет в виду Латкин. Слухи о неблаговидной роли Распутина при дворе были очень распространены. Латкин почувствовал, что сказал лишнее, и, чтобы сгладить неприятность, поднял рюмку:

— Думаю, хватит об этом. Пусть время нас рассудит. Предлагаю тост: за нашу победу на поле брани!

Дамы зааплодировали ему, и больше всех старалась Мария Васильевна, в глазах которой Латкин теперь выглядел этаким смелым бунтарем, почти героем. Собственно, он для того и затеял весь этот никчемный спор, чтобы возвыситься в ее глазах.

Кондрат Мокеевич подхватил тост Латкина охрипшим от усердия голосом:

— Православному русскому воинству — ура!

Уже порядком захмелевшие гости поддержали его вразброд, но свои рюмки опорожнили дружно.

Суворов, подцепив вилкой сардинку, глубокомысленно разглядывая ее, спросил у архитектора:

— Михаил Кондратьевич, при дворе часто устраивают балы?

— По особо торжественным случаям.

— И там тоже закусывают сардинками?

— Кто чем желает!

— А самого царя-батюшку доводилось вам видеть?

— И не раз!

— Вот же счастливый человек! — позавидовал купчина, покачивая головой, подстриженной под горшок.

— И в Зимнем дворце бывали? — сгорая от любопытства, поинтересовалась Суворова.

— А как же, Мария Васильевна! Мне по долгу службы приходится бывать там...

Жена Кондрата Мокеевича, улучив момент, шепнула мужу:

— Там тебя спрашивают, Мокеич.

— Кто?

— Голубев, с ним еще кто-то.

— Почему он сам не поднялся сюда? — нахмурился доверенный.

— Не знаю, Мокеич, не знаю. Велел быстро позвать тебя. Сердитый очень, волком смотрит...

«Что там случилось? — поднимаясь из-за стола, подумал хозяин. — Коли пришли из полицейского управления — добра не жди...»

На кухне с ним холодно поздоровался исправник, раскрасневшийся, словно только что из бани.

— А мы ждем... Где это вы пропадали? — начал было тоном гостеприимного хозяина Космортов, но исправник остановил его:

— Постойте... Объясните сначала, где был утром вот этот хлюст? — Голубев круто повернулся на каблуках и показал пальцем на сидевшего в дальнем углу Проньку.

— Ах, вот он где, голубчик! Изволил явиться наконец! А я его, окаянного, с утра разыскиваю, — сказал доверенный, подходя к работнику. — Говори, где был?

Проня встал и, застегивая пуговицу на вороте холщовой рубашки, со смущенным видом начал рассказывать:

— Проспал малость, хозяин... Вчера ходил стога огораживать, вернулся поздно и заночевал у бабушки. А она сегодня не стала будить, пожалела меня. А затем погостил у нее, шаньги ел. Ведь мне скоро в солдаты идти... Вот так и получилось...

— Так-с, значит, проспа-ал?! — неопределенно сказал доверенный, мучительно думая, зачем Голубеву понадобился этот парнишка.

— Врет! — отрезал исправник, буквально огорошив Кондрата Мокеевича. — Сегодня, после обедни, он с колокольни собора сбрасывал листовки.

— Я? Чего это я полезу... — начал было Проня, но Голубев осадил его:

— Молчать! Хватит болтать чепуху... Говори: откуда листовки? По чьему заданию действовал?

— Я ничего не знаю. — Проня простодушно посмотрел в глаза исправника и утер нос рукавом.

— Не притворяйся дурачком! Кожевник Марко видел тебя там, а ты мне рассказываешь про какие-то стога сена, черт возьми! Я тебе покажу кузькину мать, если будешь голову морочить! Признавайся, щенок! Ну?! — в ярости кричал Голубев, тыча кулаком перед самым носом Прони. Было отчего ему выйти из себя: люди празднуют, веселятся, а он, как ищейка, рыщет по городу и не может напасть на след. Проклятая служба!

Исправник круто повернулся к Кондрату Мокеевичу:

— Поговорите вы с ним, развяжите ему язык. И чтобы все выложил.

Глаза доверенного стали колючими. Он схватил Проню за ворот рубашки и так тряхнул, что все пуговицы сразу отлетели и раскатились по кухне.

— Ты? — спросил он, дыша прямо в лицо парню.

— Нет, — ответил Проня, защищая рукой голову.

— Душу вытрясу, говори!

— Ничего не знаю...

Словно ястреб, вцепившийся в добычу, хозяин таскал Проню по полу кухни из конца в конец, пока сам не выбился из сил. Тот не сопротивлялся, лишь старался уберечь голову и лицо от ударов и пинков.

— Ух, сердце лопнуть ладится! — присев на скамью и тяжело дыша, наконец проговорил доверенный. — Делайте с ним, что хотите. Я больше не в силах...

— Обыскать!

Но обыск ничего не дал. А Проня стоял на своем:

— ...Проспал — это верно, сознаюсь, виноват, а больше ничего не знаю...

— Ну, тогда тебя, голубчика, придется отправить за решетку и посадить на пищу святого Антония! — ничего другого не придумав, пригрозил ему Голубев и сердито забарабанил пальцами по столу.

— Его забирают в солдаты. Уже повестка поступила, — сказал Космортов.

— В солдаты? — переспросил Голубев. Некоторое время он молча разглядывал сидевшего в углу Проню, озиравшегося исподлобья волчонком. Что с ним сделать? Задержать, так он, пожалуй, обрадуется, что на фронт не попадет...

Наверху заиграл граммофон. На кухню явственно доносились задорные звуки польки и топот танцующих пар.

— Ну-с, что ж! В солдаты — так в солдаты! — решил исправник. — Только я попрошу, Кондрат Мокеевич, рассчитаться с ним сейчас же, при мне... и на этом кончим, пожалуй. Надоел мне этот сопляк.

Космортов понимающе кивнул.

— Расчет у меня готов... Выйдем-ка на крыльцо, парень. Там я тебя «рассчитаю», — зловеще пообещал Проне хозяин и направился к двери.

Через кухонное окно Голубев видел, как Пронька кувырком слетел с крыльца и распластался на земле. Затем он встал, подобрал выброшенную вслед свою котомку и, прихрамывая, поплелся к выходу. Закрывая за собой калитку, Проня бросил на хозяина взгляд, полный ненависти, и, как показалось исправнику, даже погрозил ему кулаком...

— Пойдемте наверх, — предложил Голубеву доверенный. — Сегодня у нас прощальный обед по случаю отъезда сына с женой в Питер. Прошу вас.

ПРОНЬКА-НОВОБРАНЕЦ

1

Через три дня к городской пристани у Медвежьего заливчика, густо дымя, пристал пассажирский пароход «Учредитель». Отвальных гудков еще не было, а к пристани уже потянулись со всех сторон городские жители и группировались чуть в отдалении. В основном это были пожилые люди, старики, старушки, но среди них было немало подростков, девушек и детей, без которых, как известно, не обходится ни одно происшествие.

Заполнив высокий берег, люди стояли понуро, удрученные свалившимся на них горем, и коротко обменивались фразами, как это бывает перед выносом из дома покойника.

— Не видать еще?..

— Пока не видно.

— Кормят их сейчас. Уже на дорогу...

— Этакую ораву не вдруг накормишь.

— А много их сегодня повезут?

— Целый пароход. Со всей Вычегды набрали и с Сысолы тоже.

— О, господи! Что делается на свете. Покуда всех не поубивают, видать, война не кончится...

— За что такая напасть? — вздыхали старухи, утирая передником непрошеные слезы.

Девушки стояли притихшие. Были они одеты чище и лучше, чем обычно. Кто побойчей, тихо перешептывались между собой.

Мужики дымили самокрутками, рассуждали о повседневных делах, помалкивая о том, что у каждого камнем лежало на сердце. Они в разговоре кружились вокруг да около: толковали о сенокосе, о том, что теперь не достать не только косы, но и гвоздя, чтобы прибить отскочивший каблук, да и хороших косцов почти не осталось по деревням, — пока не добрались до самого больного места.

— Помните, мужики, как провожали в прошлом году первые партии рекрутов? С молебствием, с попами да хоругвями.

— Это верно, провожали что надо. И подарки раздавали...

— А теперь пригонят бедняг, как баранов, погрузят на пароход — и валяй с богом!

— Кто с ними сейчас будет возиться? Через каждую неделю, почитай, увозят вниз по Вычегде сотнями. Успевай только подсчитывать, сколько их...

— Скоро, видать, и до нас доберутся.

Невдалеке от сходней, спущенных с парохода на берег, стояли Домна с Анной и матерью.

— Куда тебя, доченька, понесло в такое-то время?! Скажи, неслух: куда и что отправляешься искать? — уже который раз спрашивала у Домны старушка, все еще, видимо, надеясь уговорить ее.

Выжидающе поглядывая на берег, Домна ответила ей мягко, но решительно:

— Не держи меня, мама, и не уговаривай. Ты же знаешь: если я сказала поеду, значит, так и будет.

— Подожди, касатка, — вздохнула мать и принялась рыться у себя за пазухой, — поделимся нашими копейками. Пригодятся тебе там, в людях. Чай, не дома жить, знаю!

— Не надо, мама.

— Как не надо?

— Ах ты какая, право!.. Говорю же — не надо мне. Капитан парохода обещал бесплатно довезти до Котласа. Буду им каюты мыть, прибираться на кухне. А там молодые нашего доверенного обещали билет купить. Хотят взять меня к себе.

— Ох, неугомонная! Скажи, когда тебя обратно ждать?

— Пока не знаю. Там видно будет, мама, — потуже завязывая разошедшиеся концы платка матери, ласково сказала ей Домна. — Смотрите, сколько собралось народу. Аннушка, помоги матери. Я сверху руку подам. Кажется, идут.

Поднявшись на берег, Домна увидела новобранцев, вереницей спускавшихся по Никольской улице к пристани.

Впереди шагал воинский начальник Драгунов, которого Домна видела прошлым воскресеньем в Троицком соборе. Тонкий и высокий, он вышагивал, словно журавль по болоту, далеко вперед выбрасывая ноги в начищенных сапогах. За ним ковылял унтер в поношенном мундире, слегка припадая на правую ногу. Он был толстый и гладкий, как откормленный боров. Ремень с трудом стягивал его выпиравший живот, и старый служака время от времени рукавом смахивал пот с медно-красного лица.

За ними плелись новобранцы. Деревенские парни шли вразвалку, толкаясь локтями, и мешали друг другу. Охотясь за зверем, они прекрасно могли бегать на лыжах, лучить острогой рыбу, пробираться тайгой даже темной ночью, наконец, стрелять дробинкой белке в глаз, но шагать в строю не умели. Шли не в ногу, сбиваясь, хотя унтер выкрикивал старательно:

— Ать-два! Ать-два! Левой!

У новобранцев за плечами болтались котомки из мешков, а у некоторых вообще ничего не было — они шли босые, с потрескавшимися ступнями ног, или в стареньких котах, в стоптанных поношенных сапогах. Одежда на них была тоже старая, заплата на заплате. У многих, видимо, и не было лучшей одежды, а у кого и была — в надежде на казенное обмундирование надели что похуже. И потому строй новобранцев более походил на сборище нищих или арестантов.

Унылая пестрая толпа спустилась по Никольской улице и подошла к воинской казарме, расположенной у спуска к пристани. Потный унтер выкатил глаза и, дернув головой, как петух на шесте, рявкнул:

— Стой! Напра-во-о!

Кое-кто повернулся по команде лицом к начальнику. Другие повернулись налево и оказались к нему спиной. А большинство остались стоять на месте, ошалело озирались, не зная, что делать, — то ли стоять, то ли повернуться. Многие не знали русского языка или же впервые слышали подобную команду. Выведенный из себя унтер громко бранился, обзывал их чурбанами, добавляя вполголоса кое-что и покрепче.

Когда наконец унтер построил новобранцев лицом к начальнику, тот произнес напутственную речь о том, что им выпало счастье сражаться с врагом на поле брани, служить верой и правдой, повиноваться начальству, не жалеть ни сил, ни самой жизни за веру, царя и отечество...

Новобранцы слушали молча. Многие стояли, печально опустив головы. Были здесь и безусые юнцы, растерянные, с откровенной грустью в глазах. Но были и усатые, бородачи, почтенные отцы семей. Эти сосредоточенно думали, как будут домашние жить без кормильца, кто будет обходить и проверять ловушки для зверей и птиц, добывать белок, пахать, сеять, кормить многочисленное семейство. Об этом воинский начальник ничего не сказал.

Домна искала глазами Проню. Она обошла строй, напряженно вглядываясь в новобранцев. Однако Прони почему-то не было.

«Где же он? Куда запропастился?» — растерялась Домна и, стараясь не показывать людям свое беспокойство, снова искала его среди новобранцев.

«Или обманул он меня?» — неожиданно подумала она, и от этой мысли у нее захолонуло сердце.

С реки, из-под берега, донесся первый гудок парохода. Начальник приказал унтеру устроить перекличку и затем погрузить людей на пароход...

То ли от беготни при сборах в дорогу, то ли от неспокойной ночи, которую Домна провела в раздумье, почти без сна, но силы теперь стали оставлять ее, ноги подкашивались. Особенно это она почувствовала при перекличке, когда дошла очередь до Прокопия Юркина, а Проня не отозвался. Кроме него, отсутствовало еще несколько человек.

По окончании переклички Драгунов приказал унтеру:

— Разыскать паршивцев! И всех — в трюм!..

Домна, заметив в толпе Мартынова, бросилась к нему:

— Артемьевич, не видали Проньку?

— Сам его ищу! Пришел попрощаться, а его не видать. Не забежал ли к своей бабушке? Она у него чего-то занемогла, — ответил обеспокоенный Мартынов. — А ты, дочка, тоже собралась ехать?

— Уезжаю...

— Тогда пожелаю тебе счастливого пути, удачи! — Мартынов крепко пожал руку девушке.

Пароход прогудел второй раз.

Обеспокоенный неявкой нескольких новобранцев воинский начальник приказал всех загнать в трюм, чтобы избежать побегов в дороге.

Среди новобранцев прокатился нарастающий ропот. Провожающие, услышав такую команду, ахнули в испуге, некоторые из женщин заголосили. То тут, то там можно было услышать:

— Ойя же да ойя, дорогие дитятки наши! Угоняют туда, где пули градом летят, смертным воем свистят, где человеческими головами, словно мячиками, швыряются!

Но вот наконец разыскали и привели отсутствовавших новобранцев. Некоторые из них были изрядно навеселе. Русоволосый паренек с растегнутым на все пуговицы воротом рубахи еле держался на ногах. По вышитой рубашке и приличному пиджаку было видно, что это сын состоятельных родителей. Несмотря на увещевание других, он продолжал распевать во все горло:

Рекруты катаются да
Слезы проливаются!..

Вдруг Домна увидела Проню. Он стоял перед воинским начальником Драгуновым и что-то объяснял ему. Было видно, что он бежал изо всех сил, чтобы не опоздать на пароход: дышал часто, хватая ртом воздух в короткие промежутки между словами. Но начальник не стал слушать, махнув рукой, крикнул:

— В трюм! Всех в трюм!..

Новобранцы зашумели, как темная парма в непогоду.

Мартынов подошел к стоявшим кучкой парням, сказал им негромко:

— Ребята! А вы не спускайтесь на пароход, пока начальник не отменит свой приказ, вот и все... Но уж действуйте дружно, как один.

И вскоре по рядам новобранцев полетел шепоток:

— На пароход не спускаться, держаться всем дружно...

Среди провожающих был и Гыч Опонь, привезший своего зятя из Кочпона. Ладанов стоял в строю бледный, с осунувшимся лицом. За спиной у него тоже висела котомка. Воспользовавшись шумом и сутолокой, к нему пробралась жена и, повиснув на его руке, молодая и красивая, с заметно пополневшей талией, тихо плакала.

— Ох, горе мое горькое! — жаловалась она ему сквозь слезы. — Как же я без тебя буду жить, бедная? Да на кого ты меня покидаешь, мой желанный?

— Не плачь, Зоя, — успокаивал ее Ладанов. — Тебе нельзя волноваться! Не плачь, дорогая.

— Как же мне не плакать, Архипович, да не убиваться, горемычной? — не унималась жена. — Всех вас, как баранов, в трюм хотят загнать.

— Меня-то, положим, не загонят. Я попрошу Драгунова, он знает меня, скажет...

— Самых бойких да горластых хоть бы и в трюм посадить — ладно было бы, — высказался Гыч Опонь.

— А я бы стервеца Проньку первым запихал туда, — прогнусавил кожевник Марко. — Идолу выпало счастье воевать за веру, за царя, а он, смотрите, задумал удрать.

— Он же к своей бабушке прощаться бегал, — заметил кто-то из толпы. А Домна, находившаяся тут же рядом, сердито сказала:

— Коли за счастье считаешь, пошел бы сам. Вон какой бугай здоровый! Хорошо вам тут над людьми измываться... «За веру, за царя!» — передразнила она и юркнула в толпу.

Кожевник от неожиданности опешил, заикаясь, пытался что-то сказать, и вдруг его прорвало:

— Городового! Эй, городового сюда!

Домна не стала слушать, что еще он там выкрикивал. Заметив Проньку, сопровождаемого двумя стражниками на пристань, она бросилась к нему...

Шеренга новобранцев рассыпалась, смешалась с провожающими, и никакими силами нельзя было на площади у казармы установить порядок.

С начала войны Драгунов отправлял не одну партию ратников и знал, с каким трудом приходилось подавлять подобные беспорядки. Он вспомнил о недавно разбросанных в городе листовках и почувствовал, как из-под его фуражки потекли струйки пота.

— Прекратить шум! — срывающимся голосом закричал он. — На пароход шагом ма-а-арш!

Но никто не обратил на него внимания. Он с досадой посмотрел на солдат местной инвалидной команды, тщетно пытавшихся навести порядок, и послал дать знать исправнику.

Солнце заметно уже склонилось к западу, а у воинской казармы, на берегу и на базарной площади шум не утихал. Толпы людей продолжали бродить или, усевшись в кружок, занимались кто чем хотел — играли в карты, пили брагу, спорили, разговаривали. Уже появились и пьяные. Где-то, слышно, плакал ребенок...

Вдруг из-за поворота, со стороны Набережной показался отряд полицейских с исправником Голубевым. Поднявшись на крыльцо, Голубев приказал немедленно прекратить беспорядки и предупредил, что иначе будет применена сила.

— В трюм будут помещены только пьяные и дебоширы, остальные разместятся на палубе, — пообещал он, чтобы успокоить народ.

Полицейским наконец удалось оттеснить наиболее буйных к казарме и загнать их в помещение, под стражу. Остальных небольшими группами стали уводить на пароход. Взятых под стражу увели последними и упрятали в трюм, где уже сидел и Проня.

Как только посадка новобранцев закончилась, пароход дал последний гудок. Домна кинулась к трапу.

— Ну, мама, давай попрощаемся, — сказала она и нежно обняла старушку. Мать не удержалась и, прижимая к себе дочь, запричитала тонко и надрывно:

— Доченька моя родная! Нет у нас счастья-доли, приходится тебе ехать в чужедальние края за куском хлеба. Не могла я тебя в родимом гнезде под своим материнским крылом удержать, одолели нас бедность да горькая нужда. Прости меня, дитятко, да не поминай лихом свою родную сторонушку!

Анна сквозь слезы поглядывала то на плачущую мать, то на Домну.

Домна крепилась изо всех сил и даже старалась улыбаться, но все же голос выдавал ее волнение. Утирая концом своего платка слезы на лице матери и гладя преждевременно тронутую сединой ее голову, Домна торопливо шептала, стараясь ее успокоить:

— Ну, мамочка, не надо, перестань! Я тебе скоро напишу письмо. Как приеду и устроюсь на место, так и напишу. А весной обратно приеду. Зима пройдет, и не заметим...

— Эй, вы! — крикнули им с парохода. — Кончайте там, отчаливаем!

Домна крепко обняла мать, затем сестру и бегом поднялась по трапу. И хорошо сделала, что поторопилась, — двое матросов уже взялись убирать трап.

С палубы Домна еще раз крикнула:

— Мама, прощай!..

Она видела, как мать осенила ее крестом, что-то шепча про себя. Анна утирала слезы.

Пароход отошел от берега, медленно стал разворачиваться на середине Сысолы, направляясь вниз по течению.

Крепчавший к ночи ветер яростно трепал на его корме сине-красно-белый флаг.

2

Новобранцев на пароходе было набито битком. Они толпились на носу, на корме. Ими была занята вся нижняя палуба. Наиболее предприимчивые ухитрились забраться и на верхнюю, хотя вход туда для них был запрещен.

Домна, стоя у капитанского мостика, смотрела, как постепенно скрывался из виду город. Уже давно не видно ни матери с Анной, ни пристани, ни высокой горы с белокаменным собором. Все проплыло мимо и осталось позади, как дорогое сердцу воспоминание.

И чем дальше уходил пароход, тем безудержнее катились слезы по лицу Домны, но она их не замечала.

Никогда еще у нее на сердце не было так тоскливо. О жизни в людях она уже имела представление: побывала и в Устюге, и в Архангельске. Но ведь тогда она была с матерью, а теперь одна.

Не раз, может быть, придется поплакать втихомолку, и не раз она вспомнит свой родной дом.

«...Голодная ли, устала ли, никто там тебя не пожалеет», — думала Домна.

Пароход давно уже миновал устье Сысолы и шел вниз по Вычегде. Мимо проплыло имение купцов Кузьбожевых. Берег тут крутой, высокий, и оттого пароход кажется игрушечным. Начиная от каменистого низа и до самого верха щетинится еловый лес, густой, зеленый. Настоящая парма!

Новобранцы, столпившись у левого борта, любовались сказочными местами. Домна вглядывалась в лесистые берега, но думала о своем: «...Выйти замуж, как прочит мать, и нарожать полон дом нищих? Всю жизнь затем копаться в навозе? Нет, пока крылья не связаны, полетаю по свету, а там видно будет. Никто, слава богу, пока не цепляется за мой подол».

Домна утерла глаза, поправила платок на голове и по железной лесенке спустилась на нижнюю палубу. Здесь все свободные места были заняты новобранцами. Каждый устраивался на ночь, как умел. Одни курили, разговаривали, другие слонялись, толкались у входа в машинное отделение, надоедая команде; третьи играли в карты и дружно гоготали, когда проигравший подставлял лоб и получал положенные щелчки. Были и такие, которые, похрустывая сухарями, сидели у своих котомок и от нечего делать забавлялись над Терентием, помогавшим матросам мыть шваброй палубу.

— Куда это ты, Терентий, отправился? — спрашивали у него. — Не вздумал ли с нами в солдаты ехать?

— Еду к главному судье, с доверенным судиться. Угости сухариком?

— Спляши давай...

— Нашел дурака! Хочется, пляши сам, а я посмотрю...

Нигде на палубе Прони не было. Кто-то из новобранцев надоумил Домну обратиться к унтеру.

— Что тебе надо, красавица? — заметив девушку, спросил тот у Домны.

— Брата разыскиваю. Говорят, он тут, внизу, — показала она на крышку люка.

— Коли там, то и ладно. Пусть отдыхает на здоровьице, — окуная усы в кружку, заключил унтер и начал с шумом прихлебывать обжигающий чай.

Домна была не из тех, кого легко обескуражить. Она подошла к черствому служаке и стала упрашивать:

— Дяденька, отпусти брата. Он хороший, а за что страдает — самому невдомек. Схватили и посадили... Разве не жалко вам парней? Там задохнутся...

— Не задохнутся! Можно открыть круглые окошечки, — возразил усач.

— Выпусти их, дядя! — умоляла Домна и даже пыталась улыбнуться, но тот невозмутимо продолжал пить чай. Один из солдат потянулся к девушке и попытался ущипнуть ее.

Домна оттолкнула его руку и, выведенная из терпения, крикнула:

— Что вы — оглохли, идолы? Чтоб вас раздуло от этого чая! Подавитесь вы им! Да ведь таких и холера не возьмет! — все более распаляясь, честила их Домна.

Поднялся шум, начали собираться новобранцы, угрюмые взгляды которых не обещали ничего хорошего. Тогда унтер поднялся, широко расставил ноги и рявкнул:

— Разойдись! А ну, марш по местам!

Кто знает, чем могло кончиться для Домны все это, если бы не подошел матрос и не сказал:

— Эй, ты, кудрявая! Тебя вызывают в салон первого класса. Там барыня расхворалась. Приказано, чтобы ты явилась в чистой одежде.

Домна, уже остывая, бросила:

— Погодите, и на вас найдется управа! — и пошла выполнять приказание своей новой хозяйки...

3

В салоне первого класса, куда, переодевшись, явилась Домна, в кресле полулежала жена архитектора. Она была в шелковом китайском халате ручной вышивки. Концы пояса халата небрежно свисали до полу. Склонив набок голову и беспомощно опустив руки с тонкими длинными пальцами, она чуть слышно охала. Около нее суетился Михаил Кондратьевич. Тут же в салоне был и Латкин. Он стоял в глубине, у окна, и, засунув руки в карманы, со скучающим видом наблюдал однообразный пейзаж.

— Воды! Компресс на голову! — сердито приказал Домне Космортов.

Домна оторопела. С чего это он так? Всетаки свой человек, коми...

— Что, не поняла? Воды, компресс! Побыстрее!

— Ах, Мишель! — приоткрыв глаза, простонала жена. — Зачем компресс? Ты же знаешь, у меня мигрень. Где мой мигреневый карандаш? Ах, как мне тяжело. Кажется, я скончаюсь.

— Уважаемая Софья Львовна! Вам надо отдохнуть, тогда утихнет и боль, — посоветовал Латкин. — Вам лучше отправиться в каюту и прилечь.

— Доктора мне, Мишель! — снова простонала жена архитектора и, вдруг выпрямившись в кресле, прикрикнула: — Да побыстрее поворачивайся, тюлень несчастный!

— Но, дорогая Софи! — взмолился муж. — Пойми — мы на пароходе. Я спрашивал у капитана — доктора у них нет. Здесь только мы и новобранцы.

— Не говори мне про них! Боже мой! Весь день простоять на пристани из-за этих мерзких голодранцев.

— Кто мог подумать, что народ вздумает шуметь?.. Разреши, Сонечка, я сам поухаживаю за тобой! — Архитектор начал натирать жене мигреневым карандашом виски.

— Так и знай, что я в первый и последний раз в вашем Усть-Сысольске. Ах, если бы ты знал, как болит голова! Подай папироску, — устало попросила Софья Львовна, поудобнее устраиваясь в кресле.

Домна, убирая всюду разбросанные вещи, с удивлением наблюдала за капризами барыни.

— Да, Мишель, — затягиваясь папироской, сказала жена. — Хватит с меня и того, что я видела и пережила тут. Дикари, а не люди! Самоеды!

— Зачем так строго, Софи, — мягко заметил муж. — Самоеды живут в тундре, а здесь зыряне. Я объяснял...

— Ах, не все ли равно, — отмахнулась она и повернулась к мужу спиной.

— Степан Осипович, — обратилась Космортова к Латкину, — послушайте, что я наблюдала в гостях у дяди в Кочпоне. Кошмар! Тараканы, духота. Едят все из одной посуды, облизывая ложки. А свой дурацкий рыбник берут пальцами... Брр!

— Софи! Зачем при посторонних, — нервно передернулся Космортов.

Но та безжалостно продолжала:

— Степан Осипович, скажите, правда ли, что у вас все вместе ходят в баню?

— То есть, как все вместе?

— Мужчины, женщины, дети, старики, старухи...

— Вранье! — круто повернувшись, довольно резко ответил Латкин. Ему надоел этот глупый разговор. — Не смею спорить, может быть, где-нибудь в глуши и можно встретить нечто подобное, но вряд ли. Зато, скажу, здесь народ честный и скромный. Живут, не зная замков и запоров: уходя из дому, кладут поперек двери коромысло — знак того, что все ушли, — и этого достаточно, чтобы в дом никто не вошел. Более того. Охотники иногда оставляют в своих лесных амбарчиках дичь, меха, всю свою добычу за охотничий сезон. И никто не тронет.

— Ну да! Рассказывайте! А сегодняшнюю историю с новобранцами как прикажете понять? Будь моя власть — шомполами и сквозь строй!

— Милая Софья Львовна, теперь так нельзя, — возразил Латкин.

— Иногда пожалеешь, что нельзя, — сказал архитектор. — У тебя еще не выветрилась студенческая дребедень: просвещенный век,

демократические свободы, равенство, братство! В университете на студенческих сходках ты примерно такие речи произносил. И доигрался, попал под негласный надзор полиции.

— Положим, под надзор полиции я попал уже здесь, в Усть-Сысольске. Но это не суть важно, — возразил Латкин. — Важны убеждения.

— Убеждения — это твое личное дело. Однако в имении своей супруги советую держать их при себе. Она не любит либеральную болтовню. Впрочем, не сердись. Тебе виднее, мой друг, — стараясь свести разговор к шутке, сказал архитектор, довольный, что удалось отвлечь внимание жены от ее мигрени.

— Я и не собираюсь долго задерживаться у жены, — возразил Латкин. — Съезжу, посмотрю и обратно. Мне там делать нечего, помещик из меня не получится. Лучше быть уездным агрономом...

4

Едва пароход отошел от городской пристани, Проня, закрытый в трюме, прильнул к небольшому круглому иллюминатору.

Мимо проплыли соборная гора, местечки в нижнем конце города. И где-то там, позади них, осталась ветхая избенка вырастившей Проню бабушки Федосьи.

Проня на помнил своих родителей. Они умерли давно, когда ему было всего полтора года. Позднее Проня не раз спрашивал у бабушки, почему у других мальчиков есть и отец и мать, а у него нет? Бабушка на это отвечала:

— Подрастешь, расскажу. А пока тебе незачем знать.

Муж Федосьи, дедушка Михей, половину своей жизни провел в лесу. Он был хорошим охотником, не раз с рогатиной и ножом ходил на медведя и не с одного хозяина пармы снял шубу. Под старость он уже не мог далеко от дому лесовать. И нашли-то его в лесу, не так уж далеко от жилья. Устал, видимо, старый, выбился из сил, присел отдохнуть под ель и уснул навеки.

Схоронив его, бабушка Федосья загрустила и еще крепче привязалась к своему внуку. И вот как-то раз вечером за прялкой она поведала Проне о его родителях.

— Ты, сыночек, уже стал большим, и пора тебе знать, как все было. — Негнущимися старческими пальцами крутя веретено, бабушка неторопливо рассказывала: — Помню, была осень. На улице дождь со снегом, ветер. Вечером мы с хозяином сидели у светца. Он что-то со своим ружьем возился — по первому снегу на белок собирался в лес, а я вот так же с веретеном. Вдруг в окошко постучали. Я испугалась, а хозяин говорит:

— Наверно, запоздалый путник. Поди, пусти погреться.

Вышла я в сени, открыла дверь. Смотрю — женщина. Боже мой! Да это же она, наша дочь, еле на ногах держится. В большом сером платке, в коротенькой шубке, а под ней ситцевое платьице. И весь-то подол у бедненькой мокрый, в грязи. Через шею другой теплый платок перекинут, на грудь спускается, а в нем, видать, что-то лежит у ней, — рукой так осторожно поддерживает.

— Здравствуйте, батюшка с матушкой! — сказала она, перешагнув порог родного дома, и опустилась на лавку у двери. — Ох, и устала я! Слава богу, добрела.

Хозяин, вижу, и рад и встревожен, говорит ей:

— Раздевайся, грейся, доченька...

Я кинулась к ней, помогла скинуть мокрую одежду. Развернула теплый платок, а там ребеночек в одеяльце завернут, плачет, ручками тянется. Мать уселась к печке, дала грудь. Да, видно, молока-то нет у бедняжки, ребеночек — в рев, есть хочет. Вынула я из печки топленое молоко. Стали кормить с ложки, дите наелось и заснуло.

Мой-то хозяин подошел, присел рядышком, смотрит на дочку. А та склонилась над ребеночком, молчит. Предлагаем поесть — отказывается.

— Я к вам насовсем приехала, — сказала она, уложив ребенка на печку. — Больше мне некуда идти.

От этих слов мое сердце перевернулось.

— Как же, — говорю, — язык у тебя повертывается такое сказать! Хорошо, что пришла, оставайся, живи нам на радость.

А старик и спрашивает:

— Почему же ты, дочка, одна, без мужа?

— Мужа посадили.

— За что же посадили, — спрашиваем, — муженька-то твоего?

— За забастовку, — говорит. — Мастера избили, поломали чего-то на заводе... Многих судили, не одного его. Долго в тюрьме держали, а потом куда-то в Сибирь угнали. А куда я с ребеночком за ним пойду? Вот и решила к вам податься...

Уж так нам было жаль дочь, хоть и без нашего согласия и благословения вышла замуж. Сижу я, потихонечку платком слезы утираю. Вся-то она высохла, бедняжка, побледнела и так нехорошо кашляет... Эх, горе да печаль не по верхушкам деревьев ходят, а по людским головам катятся!..

Посидели молча, повздыхали.

— Сын или дочь у тебя, Марьюшка? — спросили.

— Сыночек, — отвечает. — Проней зовут...

Это ты был, касатик. Тебя это она, несчастная наша Машенька, тащила пешком поздней осенью по грязи в такую-то даль. Вот она какая была, твоя родительница...

Не суждено было ей, бедняжке, жить. Несколько дней прохворав, отдала богу душу. Сколько слез мы пролили со стариком, да ничего — сердце человеческое все вытерпит...

И вот ты, Проня, уже большой. Теперь все знаешь, — закончила свой рассказ бабушка Федосья, грустно добавив: — А отец твой так и пропал в Сибири.

...За воспоминаниями Проня не заметил, как наступили сумерки, а вскоре и совсем стемнело. Спутники его, кто как сумел, устроились на ночлег и уже спали. А пароход все шел, вспарывая мутные волны и однообразно хлопая колесами в темноте.

Проне не спалось. Он не отрываясь смотрел в темноту.

5

Домна, положив голову на котомку, спала на дровах, убаюканная однообразным стуком колес, шипением пара и приглушенным шумом воды за бортом.

Пароход плыл вниз по Вычегде, не останавливаясь. Уже забрезжил рассвет, а Домна продолжала спать. Темные ресницы скрыли смелый, пытливый взгляд. На смуглый лоб легли пряди темно-русых волос, а в углах пухлых губ притаилась улыбка.

Вот девушка, не открывая глаз, освободила из-под головы уставшую руку, свернулась поудобнее, калачиком, как любила спать в детстве, но вдруг какой-то грохот прервал ее тонкую паутину сна. Она вскочила, силясь понять, где она и что здесь происходит.

Пароход стоял у крутого берега. Матросы грузили на пароход дрова, сбрасывая их на железную палубу.

Домна встала, оправила, как могла, помятое платье и сбежала по трапу на песчаный берег. В сторонке она умылась, причесалась и почувствовала себя бодрей.

За ночь ветер разбушевался. Со стоном и свистом он носился по широкому речному простору. Вычегда бурлила, кипела. Седые волны бросались друг на друга, сталкивались и рассыпались мириадами брызг.

Новобранцев на берег не пустили. Унтер следил, чтобы никто не смог проскочить. Он разрешил только шестерым помогать матросам грузить дрова, а остальным отвечал:

— Сказано — нет, и никаких разговоров. Разбредетесь, как бараны, по берегу, ищи вас... Стой! Эй, ты, куда тебя понесло? Кругом марш!..

Кроме обитателей первого класса, пассажиров на пароходе не было. Космортовы, видимо, еще спали, их нигде не было видно. Лишь Латкин, заложив руки за спину, ходил по берегу в ожидании конца погрузки.

Пароход стоял на глубоком месте, почти вплотную у берега. По деревянным наклонным желобам несколько человек сверху спускали поленья, прямо к трапу. Там их подбирали, складывали на носилки и грузили на пароход.

Вместе с матросами у дров возился и Терентий. Увидев Домну, он спросил:

— Ты, девка, тоже, что ли, к губернатору в город Вологду едешь?

— Нет, дальше, в Питер.

— В Питер? — удивился Терентий и в раздумье поскреб затылок. В детски наивных глазах затрепетала какая-то мысль.

Терентий подошел к девушке, спросил таинственно:

— Может, и царя увидишь?

Домна улыбнулась.

— Почем знать, может случиться, — сказала она в шутку.

— Ух ты! — воскликнул он и громко зашептал: — Увидишь царя-батюшку, скажи ему: судьи обижают Тереня.

— Скажу, обязательно скажу. — Голос у Домны дрогнул. Ей до боли стало жалко обиженного жизнью человека.

«Бедняга, — думала она. — А сколько таких по свету мыкается. И почему на земле так устроено — одни живут, красуясь, таким и рай не нужен, а другие голодают? Будет ли когда получше?»

— Домна! — окликнул ее кто-то.

Она оглянулась. Из-за спины унтера выглядывал улыбающийся Проня.

Словно ветром ее подхватило. С платком в руке она поднялась по трапу, едва не столкнув матросов с носилками, и через мгновенье стояла рядом с Проней.

— Выпустили?

— Как видишь.

— Хорошо-то как! Рассказывай, где пропадал в день отъезда, несчастная душа?

Они отошли подальше от унтера и наперебой, не очень толково стали рассказывать, как провели ночь.

Затем Проня сбегал за чайником. Они нацедили кипятку из куба, прихватили котомки и

устроились на корме в укромном местечке чаевничать.

Размоченные в кипятке сухари казались вкусными. У Домны были и шанежки, и ячневые пироги. За завтраком она, подражая барыне, показала, как та привередничала в салоне первого класса:

— Ах, ах! Я умираю!.. Доктора скорее...

Схватившись за голову, Домна так закатывала глаза и стонала, что Проня не мог удержаться от смеха.

— Ну и барыня, и чудеса же ты рассказываешь!..

Посмеявшись, Домна спросила:

— А все же скажи, почему ты опоздал на пароход?

Тот ответил со вздохом:

— К бабушке бегал. Одна осталась, больная.

— И я оставила маму, — сокрушенно сказала Домна.

— Твоя мать крепкая, и не одна осталась. А бабушка одна, и еле ходит.

— Таких теперь много... — задумчиво сказала Домна. Ее темные брови сошлись над переносицей. Строгие глаза смотрели на разбушевавшуюся Вычегду, словно что-то разыскивая в хаосе седых волн. Она казалась значительно старше своих лет.

Некоторое время они сидели, каждый думая о своем. Проня с тревогой спросил:

— Все же решила ехать с этой дурой-хозяйкой?

— Поеду. Обещали взять к себе в Питере.

— Будешь терпеть ее капризы?

— Поживу, пока не осмотрюсь, а там видно будет. Чай, я к ним не привязана. Не понравится — прощай скажу. Мне главное теперь в Питер попасть.

— Лучше бы ты, как советовал Мартынов, на завод устроилась. Там быстрее в люди выбьешься.

— Если будет возможность, так и сделаю. Ой, как подумаю, что еду в Питер, самой не верится! В такую даль меня нелегкая несет... А ты, Проня, на моем месте поехал бы?

— Отчего же нет?.. Может, и мне доведется побывать в Питере. Вот бы встретиться нам!

— Спрошу у барыни, где они живут, и скажу. Случится быть в Питере, обязательно разыщи меня...

Они и не заметили, как пролетело время. Пароход дал отвальные гудки. Матросы убрали трап, и «Учредитель», пыхтя и фыркая, стал выходить на фарватер...

6

Кузница, в которой работал Мартынов, находилась за банями, у спуска к заливчику. Раньше сюда редко кто наведывался. Но добрая слава о ссыльном мастеровом быстро разнеслась среди крестьян, и те шли к нему со своими житейскими нуждами: топор наварить, коня подковать или побеседовать о том, что слышно на белом свете. Иные засиживались до заката, пока обеспокоенные хозяйки не посылали детишек разыскать «пропащих» мужей.

Мартынов был рад посетителям. Для каждого находилось теплое слово. У него становилось все больше знакомых. Но Мартынов понимал, что так едва ли будет продолжаться. И в ожидании непрошеных гостей всегда был настороже. Все, однако, произошло быстрее, чем он рассчитывал.

В тот день крупных поковочных работ не было, и он решил заняться починкой разной утвари: надо было запаять прохудившийся таз, вылудить самовар, починить ведро. Такой работы было полно.

Мартынов не спеша развел в горне огонь. Было еще рано, и никто из посетителей пока не заглядывал. Напевая под нос «Дубинушку», Мартынов сунул в огонь паяльник и взялся за мехи, вспомнив Проню. Тот, забегая, часто раздувал горн.

Так он работал час, может быть, два, как в кузницу явился урядник.

— Кончай коптить! — строго приказал он. — Пойдем!

Уже по тону полицейского Мартынов понял, что добра ждать нечего.

Догадка превратилась в уверенность, едва он перешагнул порог своей квартиры. Полицейский чиновник с жандармом производили там обыск. В комнате все было перевернуто, разбросано по полу. Даже соломенный матрас был распорот.

— Вы что-нибудь потеряли, что так старательно ищете у меня? — не удержался от сарказма Мартынов, хотя и понимал, что ему это сейчас крайне невыгодно. Жандармский чиновник смерил его откровенно враждебным взглядом.

— Тебе лучше знать, что мы ищем. И советую не задерживать нас, выложить немедленно.

— Что?

— Листовки.

— Помилуйте, какие листовки? — развел Мартынов руками.

— И запрещенные книги.

— Ищите... Если найдете, забирайте. Только ничего такого у меня нет.

— Показывай все свои вещи, — потребовал жандарм.

— Ну какие же у меня могут быть вещи? Вот только то, что на мне, — пожал плечами Мартынов. — У пролетария все его богатство — руки и голова.

— Молча-ать! И поменьше рассуждайте... Одевайся! — приказал полицейский, направляясь к выходу.

Мартынов попрощался с хозяйкой, наказал ей — если обратно не вернется, пусть заберет его инструменты и хранит, а принесенную в починку утварь раздаст владельцам.

Шагая между охранниками, Мартынов обдумывал, как ему держаться в полицейском управлении и к чему следует быть готовым.

Полицейское управление находилось на Набережной, в двухэтажном каменном здании с толстенными стенами и сравнительно маленькими окнами.

Два года назад Мартынов впервые перешагнул порог этого мрачного, похожего на каземат, здания. И вот опять он здесь.

Вскоре его провели к исправнику.

— Мартынов? — строго спросил тот, как только дверь за ссыльным закрылась.

— Он самый.

— Имя, отчество?

— Василий Артемьевич...

— Так, — многозначительно сказал Голубев и смерил взглядом Мартынова с ног до головы, словно борец перед схваткой. Выдержав паузу, он показал рукой на стул: — Садитесь... Надеюсь, вы догадываетесь, зачем вас вызвали?

— Не знаю, — пожал плечами Мартынов.

— Видите это? — Вытащив из-под папки листовку, Голубев поднес ее к лицу Мартынова.

— Вижу, бумажка...

— Это не просто «бумажка», это лис-товка, — значительно подчеркнул исправник. — В прошлое воскресенье ее разбросали у собора. Нам известно, что это сделали ваши люди. Мы знаем, что у Красного яра под Кочпоном у вас состоялось сборище. Вы там читали статью в нелегальной газете, направленную против государства и престола. Такое же сборище состоялось и в нижнем конце города, в Кодзвыле. Известно и о вашем подстрекательстве новобранцев к беспорядкам... Отпираться бесполезно, — почти добродушно закончил Голубев, хотя глаза его по-прежнему смотрели холодно.

Стало ясно, что полиции не все известно о деятельности группы в городе. Иначе исправник не так бы разговаривал.

— Что вам надо от меня? — спросил Мартынов.

— Сообщите, где печаталась листовка, кто участвовал в этом деле... и вообще все, что знаете. Уверяю вас, это значительно облегчит ваше положение. Даже даст возможность выехать снова в Россию...

— Мне ничего не известно.

— О, понимаю! Вы стреляный воробей... — заметно злился Голубев. — Но теперь время военное. Шутить с вами не будут...

Раскуривая папироску, исправник искоса поглядывал на Мартынова, не клюнет ли тот, как рыбешка на приманку. У Голубева было скверное настроение. Вчера он получил серьезный нагоняй из губернского полицейского управления. Было бы кстати заставить заговорить ссыльного. Но тот молчал.

— Ну-с, хватит! — сказал исправник, бросив в пепельницу недокуренную папиросу. — Будем говорить прямо. Вот здесь, в этой папке, лежит предписание — выслать вас, как опасного человека, дальше на север, откуда уж вам никогда не вернутся. Вы понимаете? Последний раз спрашиваю: откуда вы получили эту дрянь? — Голубев снова помахал листовкой перед носом Мартынова. — Или вы расскажете все, и тогда я лично буду хлопотать за вас перед губернатором... Или через два часа вашего духу не будет в этом городе.

«Это еще не самое страшное», — подумал Мартынов, довольный исходом. Жалко было расставаться с городом, в котором прожил почти два года, успел познакомиться с жителями и обзавестись друзьями. Но радовало, что у полиции нет никаких материалов о подпольщиках. Иначе полиция так просто его не выпустила бы.

— Ну, что молчите?

— Я хочу попросить вас об одном: походатайствуйте отправить меня в солдаты.

— В солдаты? Об этом нечего и думать... Через два часа вверх по Вычегде отправляется пароход «Иртыш». Поедете до Усть-Кулома на пароходе, а дальше на Печору будете шагать пешком. Место назначения скажут люди, которые будут сопровождать вас до конца.

«Ну, вот и снова моя утлая ладья отправится по волнам житейского моря», — невесело подумал Мартынов, выходя из полицейского управления.

В ПЕТРОГРАДЕ

Прошел год. Домна работала горничной у Космортовых.

Хозяева жили по-барски, в особняке. Чтобы следить за чистотой и порядком в нем, Домне еле хватало дня.

Девушка за год, проведенный ею в Пет-

рограде, заметно изменилась, вытянулась, повзрослела. Исчезла ее деревенская застенчивость и угловатость. Она и одевалась теперь по-иному: хозяйка заставила носить накрахмаленную наколку, кружевной фартучек. Ее походка стала более собранной, энергичной. И только тугая русая коса не изменилась.

Ютилась Домна в каморке за кухней. Здесь до нее жила другая горничная, русская девушка. Как иногда говорила Софья Львовна своим знакомым, эта девушка разбаловалась, вздумала вступать в пререкания, и пришлось ее уволить. А по словам кухарки выходило, что девушке надоели капризы и придирки барыни, и она ушла. Тогда взяли Домну.

Трудно приходилось ей на первых порах в господском доме. Хозяйка сама занималась «воспитанием» девушки: поучала, указывала, требовала. Особенно много шуму было, когда Домна принималась гладить белье барыни. Тут никак нельзя было угодить: и выглажено-то плохо, и складки не такие, и уложено никуда не годно. Долго и упорно госпожа добивалась от нее, как надо ходить, прислуживать господам за столом, держать себя при гостях и угождать. Не раз Софья Львовна хваталась за голову:

— Ах, эта дикарка сведет меня с ума...

Так в суете и заботах бежали дни.

Поздней осенью в один из воскресных дней Домна, накормив господ, ушла в свою каморку написать матери письмо.

Эти редкие минуты, когда девушка, оставшись наедине, читала письмо от домашних или писала им, были самыми радостными в ее жизни. Она как бы с глазу на глаз беседовала и с матерью и сестрой.

Ни старушка мать, ни сестра не учились грамоте, и чтобы написать письмо Домне, они обращались за помощью к какому-нибудь знакомому сельскому грамотею, чаще всего к хромому соседу Андрону, бывшему солдату. Поэтому их письма на три четверти состояли из различных поклонов «до сырой земли», приветов родственников и знакомых. И все же весточка из родного края, каждое слово, согретое теплом материнского сердца, были дороги.

Вот и теперь, прежде чем взяться за письмо, которое Домна собиралась послать домой, она вынула старые письма матери и внимательно их перечитала.

«Сегодня воскресенье. Мама с Анной отдыхают, — думала она. — Анна, конечно, ускакала к подружкам, а к маме пришли соседки...» Домна мысленно витала в своих родных местах, в деревушке Дав, где ей знакома каждая кочка и где каждая ветка, покачиваясь, как бы приветствовала ее. Глубоко вздохнув, Домна провела рукой по волосам, привычно проверяя, не распустилась ли коса, взяла карандаш и начала писать: «Здравствуйте, дорогая мама и родная сестра Аннушка!»

Оберегая материнское сердце, она не стала писать о том, как трудно ей живется в Петрограде. Написала лишь, что живет на старом месте, получила деньги и на днях вышлет. Просила не беспокоиться за нее, больше беречь здоровье, особенно зимой. Затем она просила написать про домашние дела: много ли яиц снесла за лето молодушка, как уродилась картошка...

Несколько раз приходилось Домне отрываться от письма. Только начала писать, как из гостиной раздался голос барыни:

— Горничная, где ты пропадаешь? Сбегай в аптеку за лекарством! Побыстрее...

Вернувшись из аптеки, Домна взялась за неоконченное письмо. В дверях каморки опять появилась хозяйка.

— Ты опять спряталась? Иди в спальню матери. Она жалуется на живот. Помассажируй старушку, да поосторожнее... Ах, какая ты, право, копуша! Быстрее же!..

И Домна, оставив письмо, побежала массировать дряблый живот старухи.

А потом что-то случилось с избалованным мальчишкой — орет на весь дом, не желает надевать чулки. И снова хозяйка послала горничную возиться с ним.

И хотя был воскресный день, для горничной он ничем не отличался от обычного.

«Ну и жизнь! Уйти куда-нибудь, что ли? — думала Домна. — Нет времени даже погрустить наедине».

С утра начиналось то же самое.

Вернувшись из Усть-Сысольска, Софья Львовна продолжала всем жаловаться на свои немощи. Она уверяла, что там, на родине мужа, подцепила какую-то азиатскую болезнь, день-деньской перелистывала медицинские справочники, гоняла горничную по городу за лекарствами. Своему доктору жаловалась на боли в сердце, головокружение, проводила время, лежа на кушетке, ругала мужа, что позволила уговорить себя уехать к черту на кулички, к дикарям на север.

Доктор предлагал Софье Львовне заняться какой-либо работой, но капризная барыня за глаза называла доктора сапожником и продолжала принимать порошки, требовала от мужа подыскать нового доктора. Но и другой и третий не могли помочь ей избавиться от болезни, которую она выдумала...

Как только муж вернулся из города, Софья Львовна велела подавать обед.

— Горничная! — сказала она Домне усталым, страдальческим голосом. — Накрывай на стол... Ах, у меня нет аппетита...

Михаил Кондратьевич, недавно закончив Петергофскую школу прапорщиков, щеголял в офицерской форме. Он обычно пропадал в военном ведомстве, иногда, ссылаясь на служебные дела, не ночевал дома и даже по нескольку дней не приходил к жене. Но сегодня обещал весь день провести вместе.

— Мишель! Ты серьезно решил стать военным? — спросила за столом Софья Львовна. — Разве нельзя обойтись без этого? У нас есть связи, знакомства. Наконец, можно попросить у великого князя, он, надеюсь, не забыл меня.

— Дорогая Софи! — поцеловав руку жене, сказал Космортов. — В этот грозный час, когда отечество в опасности, я не могу стоять в стороне. Священный долг каждого патриота — защищать престол. Во время войны архитектору делать нечего. В эти дни занимаются не созиданием, а разрушением. Как военный я больше принесу пользы многострадальной России.

— Ах, ты вечно говоришь таким языком, точно перед тобой не я, твоя жена, а рота солдат. Ты все время твердишь: «Долг, долг». Для меня не понятно, почему именно тебе надо становиться военным? Есть же другие. Наконец, тебя могут убить... Что будет со мной?

— Война есть война. Всякое может случиться. Но ты не беспокойся, Софи. Пока нет причин оплакивать меня. Буду находиться в Петрограде, при военном ведомстве, — старался успокоить жену Космортов. Про себя он подумал: «Теперь я просто прапорщик. Но если и дальше все пойдет так же хорошо, можно пробиться и в полковники». Полковник Космортов! — Он самодовольно взглянул в зеркало и потрогал согнутым пальцем красиво подстриженные усы.

— А когда же все это кончится? — нарушила его мечты жена.

— Войну мы будем вести до победного конца.

— Ах, довольно! Хватит, — закрывая пальцами уши, запротестовала Софья Львовна. Она привыкла жить в роскоши, вкусно есть и пить, бывать на балах. Но вот уже третий год идет война. Теперь пришлось сократить бюджет и даже отказаться от лишней прислуги.

В разговорах прошел обед. Когда хозяева встали из-за стола, Домна осмелилась спросить у барыни:

— Мне надо сходить в город, письмо отослать домашним. Можно?

— Ах, милая, ты опять? — поморщилась хозяйка, хотя последние три недели Домна никуда не отлучалась. — Мишель! Как считаешь, можем разрешить ей прогуляться?

— Почему же нет, если ненадолго, — отозвался Михаил Кондратьевич. — Софи, не забудь: мы сегодня идем в театр. В Александринке дают «Маскарад».

— Но, Мишель, придется поздно возвращаться домой! Теперь начались беспорядки. Горничная хлеба не достала — булочная не открывалась с утра. На Выборгской у одной булочной все окна разнесли вдребезги.

— Ничего страшного. По городу курсируют конные городовые. Театры работают как обычно. А этим крикунам министр Протопопов скоро заткнет глотки.

Убирая посуду, Домна удивлялась: до чего черствы эти люди! Она не раз собиралась уйти от них. Но куда?

Получив разрешение хозяев, Домна быстро прибралась в комнатах и ушла переодеваться. Она спешила на улицу, пока хозяева не передумали.

Но спешила Домна еще и по другой причине. Она хотела встретить Ивана Петровича Ткачева, по воскресеньям заглядывавшего к дворнику в гости. Работал он на прядильно-ткацкой фабрике.

Домна не ошиблась. Ткачев уже сидел у своего кума, развлекаясь чаем и разговорами. Он был высокий, сухощавый, с умными глазами и небольшой черной бородкой, обрамлявшей впалые щеки. На фронте он попал под газовую волну и, пролежав несколько месяцев в госпитале, выписался белобилетником. Ткачев и теперь кашлял, дышал тяжело и часто.

Сегодня они встретились с Домной, как старые знакомые. Иван Петрович расспрашивал девушку, что пишут из дому, как сама живет.

— Глаза бы мои не смотрели на этих бездельников! — рассказывала она Ивану Петровичу. — Никогда им не угодишь. Есть у них старая мать, выжившая из ума. Намедни чашкой в меня запустила — зачем, говорит, кофе холодный? Сама не пила сначала, остужала, чтобы не обжечься, а потом я же и виновата стала. И все они такие!..

— Зато ты сыта, — поучал бородатый дворник. — А это кое-что да значит по нынешним временам.

— Опостылело все... Иван Петрович, помогите на завод или фабрику устроиться.

— Правильно решила, девушка, — подумав, сказал Ткачев. — Сам знаю, что значит ходить перед барами на цыпочках. Да только

трудно устроиться. Заводы останавливаются. Сырья нет...

— И вашу фабрику закроют? — спросила удрученно Домна.

— Нашу пока не собираются. Хозяин наш изворотлив, как дьявол: получил заказ на солдатскую бязь. Работой мы обеспечены. А многие теперь без дела сидят. Все ищут работы. Боюсь обещать. Но спросить попробую.

— Пожалуйста, Иван Петрович! Знакомых никого. Одна я тут одинешенька.

— Ладно, — сказал Ткачев, поднимаясь. — Служанкой быть мало толку... Не желаешь ли прогуляться со мной на Петроградскую сторону?

С Ткачевым было нескучно. Разговор шел как-то сам собой. Ткачев чем-то напоминал Мартынова: такой же простой, общительный. Потомственный рабочий, родился и вырос в большом городе, многое видел и пережил. Ему было о чем рассказывать.

Сначала они зашли на почту — Домна отправила письмо и деньги матери. Затем направились на Петроградскую сторону.

Город был шумный и пестрый. Со звоном пробегали по рельсам трамваи. На бульварах, улицах полно народу, все куда-то спешили. Но были и неспешившие: с собачками, с зонтиками на случай дождя.

Встречались солдаты и матросы. Некоторые только что выписались из госпиталей. Одни неуклюже ковыляли на костылях, у других руки на перевязи. При виде этих искалеченных людей у Домны болезненно сжималось сердце. Почему-то казалось, что вот так неожиданно она встретит и Проню Юркина. Как-то он писал, что его определили на морскую службу, матросом. Больше писем от него не было. Может быть, он вот так же где-то ковыляет на костылях?

На Литейном мосту им повстречались конные городовые. Вооруженные всадники по двое в ряду проехали мимо и скрылись за углом. Ткачев проводил их недружелюбным взглядом и сказал негромко:

— Опять они... Как и тогда, в девятьсот пятом...

— А что тогда было, Иван Петрович?

— Не слыхала? Тогда полили мостовые кровью питерских рабочих.

— Кровью?

— Все началось в январе, в такой же воскресный день. Рабочие шли к царю. Хотели рассказать ему, как голодают, как фабриканты и заводчики выжимают последние силы людей... Шли с царскими портретами, несли хоругви, иконы... А он — батюшка-то царь приказал стрелять в тех, кто подойдет к его дворцу.

— В людей стрелять?

— В людей, конечно, в женщин с детьми на руках... залпами!.. А казаки рубили шашками, нагайками хлестали...

— Ох, как же это?

— Вот так, милая! — жестко ответил Ткачев.

Они вышли на набережную.

По Неве ветер гнал стаи пенных волн. Над рекой с печальным криком носились белокрылые чайки.

Вдоль набережной по обеим сторонам громоздились высокие каменные здания.

Ниже виднелся мост. С левой стороны высилась многоэтажная громадина Зимнего дворца. А напротив, на другой стороне Невы, поднимался в небо шпиль Петропавловской крепости.

— Вот он там и живет, — качнув головой в сторону дворца, сказал Иван Петрович.

Домна поняла, кого он имел в виду, и смотрела на царский чертог, невольно проникаясь чувством злобы.

— Ну, мне пора к дому. Будет нужда, приходи. Мы, правда, живем не по-господски, в общем бараке для рабочих. Но если некуда будет деться, потеснимся. Жена у меня славная. Подружитесь... А насчет работенки для тебя — спрошу, — пообещал Ткачев и дал Домне свой адрес на случай, если ей вздумается разыскать их квартиру.

Начало смеркаться. На улицах зажглись огни. Оставшись одна, Домна завернула в чайную, выпила чаю, чтобы согреться. Домой не хотелось идти.

В этот вечер она долго слонялась по городским улицам, сидела в скверах и думала о той страшной правде, которую открыл ей Ткачев.

«Как же так, стрелять в людей? В свой народ?» — думала она.

В деревушке Дав ей по детской наивности далекий Питер рисовался каким-то необыкновенным, сказочным.

Но вот Домна живет в этом самом Питере, ходит по его широким, светлым улицам. Подружки из деревни Дав, наверно, завидуют ей. А чему завидовать? Оказалось, и здесь есть богатые и бедные. Кто богат, тот и прав. Сам царь за богатых стоит.

Ей было тоскливо в этот вечер. Она чувствовала себя одиноко в огромном, шумном городе. «Наверно, есть и хорошие люди в таком большом городе, да где их найти? Может быть, действительно следует пойти к Ткачевым? Видать, хороший он человек, да удобно ли стес-

нять их?» — с тоской подумала Домна и направилась к себе.

А дома ее уже ждали с нетерпением. Едва Домна успела снять платок, как хозяйка на нее набросилась:

— Долго шлялась... Из-за тебя мы опоздали в театр. Говорят — таскаешься с каким-то фабричным. И к тому же с бородатым. Фу, какая гадость!

— Он хороший человек, — попыталась защищаться Домна. — Я знаю, что делаю...

Барыня схватилась за голову.

— Мишель, — застонала она. — Не могу больше. Я окончательно свалюсь с ног из-за этой гадкой девчонки. Ребенок не кормлен. У старухи матери надо в спальне проветрить. А она преспокойно разгуливает с мужиком. Мишель, скажи ей по-своему — если еще раз позволит, выгоню!

— Я не каторжная, чтобы день и ночь на вас работать, — не сдержалась Домна. — И нечего меня пугать, сама уйду. Очень мне нужно убирать ваши вонючие горшки!

— Мишель, ты слышишь, что она говорит? Почему ты молчишь? Почему не гонишь ее вон?!

— Софи! Но ты не можешь остаться без горничной, — пытался уговорить ее муж. — И потом, теперь уже вечер, почти ночь...

— Тебе жаль не меня, а свою самоедку. Гони ее немедленно! Чтобы духу ее здесь не было!

— Милая барыня, — усмехнулась Домна. — Не горячись, а то печенку испортишь. Я сама не соглашусь с тобой ночевать под одной крышей. А ругаться и я умею, для этого большой грамоты не требуется. — Девушка круто повернулась и вышла из гостиной...

Вскоре она, с узелком в руках, была уже на улице. Холодный ветер хлестал в лицо, пытаясь сорвать с головы платок. Домна растерянно прислушивалась к его завыванию. Было страшно. Где искать работу? Куда идти ночевать?..

СРЕДИ ФАБРИЧНЫХ

1

Февраль пришел вьюжный, ненастный. Лохматые свинцовые тучи нависли над взбудораженным городом, временами посыпая его обледенелые мостовые колючей крупой или забрасывая хлопьями мокрого снега. Резкий порывистый ветер трепал обрывки старых афиш и клочья газет, разнося их по пустынным закоулкам. Солдатские патрули ходили по городу, кутаясь в серые островерхие башлыки. На широких заснеженных улицах было холодно и тоскливо.

На прядильно-ткацкой фабрике, куда Ткачев помог Домне устроиться на работу, трудовой день начинался с протяжного гудка. Еще затемно он будил фабричных, которые, как растревоженные муравьи из муравейника, высыпали из своих длинных низких бараков. В поношенных старых пальтишках, в засаленных ватниках, в стоптанных сапогах или башмаках, они в одиночку и мелкими группами спешили на работу, быстро пробегая через проходную.

Двухэтажный кирпичный корпус с запыленными узкими окнами, с иссеченными дождем и ветром, прокопченными дымом стенами, который можно было принять и за старую запущенную тюрьму, и за заброшенную солдатскую казарму, и был фабрикой.

Внутри с утра и до позднего вечера вращались трансмиссии, стучали ткацкие станки. Здесь все дрожало, как в лихорадке, даже пол под ногами.

На фабрике работало много людей, но, разойдясь по этажам огромного корпуса, они терялись и как бы расплывались в шуме и грохоте цехов.

Вначале работа показалась Домне не такой уж трудной. Ее определили в подручные к жене Ткачева, Груне, работавшей у машины, наматывающей нитки на шпульки. Груня охотно учила новенькую быстро и аккуратно наматывать шпульки, познакомила ее с фабричными девушками, из которых больше всего Домне пришлись по сердцу Ксюша и Зина.

— Хорошие девушки! — одобрительно отозвалась о них Груня. — Работают усердно и себя держать умеют. С такими можно дружить. А вон та, у соседнего станка, — трепло, каких поискать. Ты с ней не связывайся. Среди фабричных тоже всякий народ встречается...

Как-то Домна, тогда еще не работавшая у машины, сказала подругам с усмешкой:

— Ну, это разве работа! Вот попробовали бы вы ранней весной у Гыч Опони мерзлую глину месить ногами...

Те переглянулись и сказали:

— А ты поработай сначала с нами, а там посмотрим.

Вскоре Домна в этом убедилась. С первых же минут, как только начинали вертеться шпульки, ее внимание было напряжено до предела. Нужно было следить, чтобы нитка шла ровно, ложилась на шпульку ряд за рядом, не путалась, не обрывалась. Шпульки вращались как бешеные, и молодой работнице с утра и до позднего вечера, все двенадцать часов, приходилось вертеться, как те же шпульки. Это была адская работа. Человеку нужно было поспе-

вать за машиной. А машины на фабрике работали с предельной нагрузкой. Их останавливали только для того, чтобы в середине дня работницы могли перекусить и перевести дух.

За те долгие и утомительные часы, которые молодая работница проводила у своих вращающихся шпулек, ее ноги немели, перед глазами мельтешила нескончаемая паутина ниток. Последние часы были самые тяжелые. Руки машинально выполняли положенную работу, а сама Домна двигалась, как в полусне. В такие минуты ей иногда казалось, что она уже не человек, а машина.

Вернувшись с работы, Домна еще долго слышала противный шум станков и шелест приводных ремней, а перед глазами продолжали вращаться все те же шпульки, не дававшие покоя даже во сне.

Только теперь она поняла, почему у фабричных девушек бледные лица и усталые глаза.

И все же Домна не жалела, что ушла из господского дома. Здесь она увидела иной мир, иную жизнь, других людей. Зарабатывали они свой хлеб тяжелым, изнурительным трудом, но товарища уважали и всегда были готовы помочь.

Ткачевы были бездетны, работали на одной фабрике. Домна поселилась у них в маленькой комнатушке с низеньким потолком и чувствовала себя, как дома. Груня оказалась хорошей женщиной и к молодой девушке относилась, как к родной дочери. Домна любила вечерами чаевничать с ними у горячего самовара. У этих добрых людей она отводила истосковавшееся по дому сердце, делилась с ними мыслями и чувствами.

Иногда вечерами к Ткачеву заглядывали и другие фабричные, играли в шашки или, усевшись вокруг самовара, рассуждали о своих заботах, ругали буржуев, затеявших войну, жаловались на хозяина фабрики, на мастеров, которые донимают штрафами, выматывая последние силы у рабочего люда.

Ткачев, надев очки и подсев ближе к лампе, читал вслух газету, а рабочие обсуждали прочитанное.

Иногда у них были и какие-то свои, скрытные разговоры. В таких случаях Ткачев просил Домну погулять на улице и, если заметит кого-нибудь подозрительного, предупредить об этом.

Как-то раз Иван Петрович извлек из потайного места большой лист с рисунками и надписями. Улыбнувшись в усы, подстриженные под щетку, он сказал собеседникам:

— Покажу-ка я вам одну картинку. Хотите?.. — Он расправил лист на столе и, подмигнув, спросил: — А ну, ребята, смотрите внимательно и скажите, что тут нарисовано?!

Домна тоже стала разглядывать картинку. Там были нарисованы какие-то люди, стоявшие одни над другими.

В самом низу были рабочие. Согнувшись, они держали на спине что-то вроде подноса, а на нем — сытые, веселые господа, разодетые барыни. Домне показалось, будто среди них ее бывшая хозяйка, капризная Софья Львовна.

— Ну как, интересная картина? Прочитай-ка нам, доченька, что вот тут написано! — попросил Домну Ткачев.

С одной стороны было написано: «Мы работаем на вас», а с другой — «Мы кормим вас».

Собеседники дружно закивали:

— Верно сказано...

— А то кто же их кормит, одевает, обувает?! Известно, мы — трудовой народ...

Фабричные снова склонились над рисунком.

Выше господ стояли солдаты с ружьями. Тут была надпись: «Мы стреляем в вас».

Еще выше были попы и монахи с крестами в руках и раскрытыми ртами. Они, видимо, что-то пели.

«Мы одурачиваем вас» — объяснялось под ними.

Еще выше, под небольшой кучкой людей в мундирах и с орденами, сообщалось: «Мы правим вами». А на самом верху царь с царицей. «Мы царствуем над вами» — гласила под ними надпись.

— Видите, что получается! — сказал Ткачев. — А внизу напечатаны стихи:

Но настанет пора, и воспрянет народ,
Разогнет он могучую спину...

— Это уже про нас сказано, — одобрительно заговорили фабричные.

— Правильно, про нас... Запомните и готовьтесь к бою за рабочую правду. Недолго осталось...

2

Первые раскаты грома не заставили себя ждать. По Петрограду пронеслась весть: забастовал Путиловский завод. Узнали про это и на фабрике, где работала Домна.

В тот вечер Груня с Домной заждались Ивана Петровича, а без него не хотелось садиться за ужин.

Ткачев пришел поздно и сообщил:

— Путиловцы — молодцы! Избрали стачечный комитет. Директор завода пригрозил рабочих призывных возрастов отправить на фронт. В ответ шрапнельно-сборочная прекра-

тила работу. Теперь завод бастует полностью.

События в столице нарастали с неимоверной быстротой.

Началась стачка на Обуховском заводе, перекинулась на Балтийский. Поднялась Выборгская сторона, а там и Нарвская застава. Отправляясь на работу, Иван Петрович предупредил жену:

— Сегодня международный день работниц. Будет митинг. Обязательно приходите с Домной.

Груня, повязывая кумачовую косынку, спросила у Домны:

— А у тебя, девонька, есть такая? У меня найдется... — Она порылась в сундуке и вынула новую косынку из красного сатина.

На фабрике Домна заметила, что в красных косынках были многие работницы. Сновали по цеху мастера, пытливо приглядываясь и прислушиваясь.

Так продолжалось, пока в грохот станков не вклинился фабричный гудок. Домна ожидала его и все же вздрогнула. До того он прозвучал властно, требовательно.

— Бросай работу! Все во двор! — быстро войдя в шпульно-мотальный цех, громко сказал Ткачев.

Девушки первыми хлынули к выходу. Ксюша и Зина оттолкнули стоявшего в дверях верзилу сторожа и через минуту были на дворе. За ними спешила Домна.

Во дворе народу было уже порядком. Люди нерешительно озирались. Толпа гудела приглушенно и грозно.

— Груня! — обрадовалась Домна, увидев Ткачеву. — И я с вами. А дальше что будет?

— В город скоро пойдем! — задорно крикнула Груня. — Становись рядом... Ксюша! Зина! Идите к нам!

На крыльце конторы появился взволнованный управляющий в пальто, в каракулевой шапке.

— Что за сборище? Почему бросили работу?

— Пусть сам хозяин выйдет сюда! — закричали из толпы.

— Штрафами замаяли!

— Мы голодаем!

— Что же нам, пропадать с детишками?! — раздавались возмущенные голоса.

Несколько рабочих отделились от толпы и поднялись на крыльцо. Ткачев отстранил управляющего и поднял руку:

— Товарищи! Большевики призывают всех рабочих и работниц Петрограда громко заявить, что мы против войны, голода, тяжелых условий жизни! Сейчас мы пойдем на общий митинг у Нарвской заставы. Эй, кто там ближе! Откройте ворота!

Над оживленной толпой взмыл красный флаг. Несколько голосов уверенно затянуло песню:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнём в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Груня, подхватив Домну под руку, тоже пела. Светло и радостно было на сердце Домны. Впервые девушка слушала песню борьбы за счастье, лучшую жизнь. Казалось, у нее выросли крылья, и она парит на них вместе с песней.

3

Полицейские пытались задержать рабочих, угрожали им, но их просто смели с дороги.

В колонну вливались все новые группы демонстрантов. В строй становились рядом с мужьями и братьями женщины, дежурившие в очередях за хлебом. Колонна обрастала людьми, бурлила, как река в половодье.

До слуха Домны долетело, как Груня весело бросила в коротком перерыве песни:

— Впереди колонна Тентеловского завода!

— Говорят, и «Треугольник» вышел на улицу?

— Нас много!

И впрямь, казалось, Петергофское шоссе заполнено демонстрантами на всем своем протяжении. Людской поток лился и лился, шли с красными флагами, на которых на скорую руку было написано: «Долой войну!», «Мы требуем хлеба!..» В весеннем воздухе звенели революционные песни. И когда масса людей влилась на площадь, начался митинг.

Ораторы сменялись один за другим.

— Дальше так жить нельзя! Нечего есть! Не во что одеться! Нечем топить печи, вот до чего дожили! — бросала в притихшую толпу гневные слова пожилая работница. В руке она держала красный платок, снятый с головы. Порывы ветра трепали седеющие волосы работницы. Иногда она поднимала руку, и платок флагом взмывал над ней.

— Наших сыновей гонят эшелонами на бойню, как скот. Царская власть с буржуями довели страну до разорения. Дальше нельзя молчать! Все на борьбу! Все под красное знамя революции! Долой самодержавие!

— Долой!..

— Грушенька! — восторженно сказала Домна. — Смотри, что делается, какая сила!

— Притихли городовые. Видишь, как жмутся в сторонке.

Демонстранты с пением «Варшавянки» направились к центру города.

4

И снова по широким улицам Петрограда неслись революционные песни, над людскими потоками плыли красные флаги. Вместе со всеми радостно шагала Домна. Она надеялась попасть к Зимнему дворцу и, может быть, увидеть царя.

В центр не пустили. Многотысячная демонстрация остановилась, словно во что-то уперлась. Песня оборвалась. Люди притихли, поглядывая друг на друга. И когда раздались первые залпы, многие пригнули головы, словно это могло их спасти.

— Казаки! — испуганно закричали из первых рядов.

— Прямо по людям палят!

Красные флаги качнулись, как от порыва ветра. Тут и там падали на мостовые убитые и раненые.

Домна растерянно озиралась, не понимая, что происходит. Хотя и знала она от Ткачева о событиях в пятом году, все же не могла сразу поверить своим глазам. Все это казалось жутким сном...

На миг выстрелы прекратились. Демонстранты теснее сомкнули ряды, запели «Варшавянку». Красные флаги снова взмыли над колоннами. Но песня звучала недолго.

Из боковой улицы показались конные городовые и ринулись на людей. С ужасом смотрела Домна, как поблескивали сабли в руках всадников в плоских круглых шапках.

— Ироды проклятые! — закричала она в отчаянии.

Ксюша схватила ее за руку и потащила в сторону:

— Кому кричишь, дуреха? Видишь, какие они красногожие, толстомясые! Как есть, фараоны... Ой, смотри! Нашу Груню хлестнули. Вон тот пучеглазый, нагайкой!..

Рыжебородый городовой с широким оскалом прокуренных зубов, вклинившись в толпу, деловито хлестал плеткой наотмашь по головам и плечам работниц. Лошадь его то взвивалась на дыбы, то наваливалась на людей широкой потной грудью.

— Чего стоим? Бегом! — крикнула Домна Ксюше. Они бросились на помощь Груне, чью знакомую косынку заметили в мечущейся толпе людей.

— Вот она, здесь! — воскликнула Домна.

Груня лежала, скорчившись, на боку. Дышала тяжело.

— Груня! Что с тобой? — наклонилась над ней Домна.

— Ох, девоньки! — обрадовалась Груня. Она хотела приподняться, но не смогла. — Кажется, плечо повредил, зверюга, рукой двинуть не могу!.. Ванюшку не видели? Что с ним?

— Иван Петрович только что был с нами, — сказала Домна, — не беспокойся! Попробуй встать, милая. Затопчут! — Домна вместе с Ксюшей приподняли с земли беспомощную Груню, прикрывая ее спиной от бегущих людей, помогли ей встать на ноги. Домна поправила на ней сбившуюся косынку.

Выбраться из пекла было не так-то просто. Разрозненные группы демонстрантов жались у каменных домов, искали лазейки проскочить дворами в ближайшие проулки. Молодые рабочие швыряли в городовых вывороченными из мостовой камнями, стаскивали их за полы. На улице все кипело, шумело, стонало, грозно гудело.

— Пока схоронитесь за углом этого дома! Быстрее, быстрее шевелитесь! — торопила Домна. — Вы подождите здесь, а я попытаюсь найти Ивана Петровича.

Она вскоре вернулась с молодым рабочим, бывавшим у них по вечерам на тайных беседах.

— Ивана Петровича не нашла; вот Андрейка хочет помочь нам, — сообщила она.

Парень сказал:

— За Ивана Петровича не беспокойтесь. А вот Груне надо помочь... В плечо ударили, гады. Ужо, погоди, рассчитаемся с ними сполна!

Бережно поддерживая раненую, пошли, прижимаясь к домам, и за углом свернули в тихий переулок.

Под вечер, с трудом разыскав извозчика, они привезли Груню домой.

Вскоре явился Иван Петрович.

Груню уложили в постель, она заснула. Ткачев, одеваясь, попросил Домну:

— Пожалуйста, побудь около нее. Меняй компресс, чтобы жар вытягивало. Накорми, когда проснется. А я схожу лекаря найду.

— Не беспокойтесь, Иван Петрович, все сделаю, — пообещала Домна. — Вы себя поберегите, на фараонов не наскочите. Скорее возвращайтесь, мы будет ждать!..

Она проводила Ткачева, постояла в сенях, пока не замолкли его шаги. Кроме завываний холодного ветра, на улице ничего не было слышно. За дверями стояла темная февральская ночь. Домна закрыла дверь на крючок,

вернулась к больной. Присев у постели Груни, она слушала, как та, слегка постанывая, дышит во сне.

Перед глазами Домны все еще стояли картины только что пережитых событий: развевающиеся красные флаги, колонны рабочих, шагающих под боевую песню, залпы, черные всадники, топчущие людей... Тяжело было на душе. Казалось, что теперь все потеряно, надеяться не на что. Многие остались лежать на грязных улицах. А скольких упрячут в тюрьмы, сошлют на каторгу. Где же выход? Где правда?

Домна подошла к окну, приоткрыла занавеску, вглядываясь в темноту, но ничего не увидела.

«А что ожидает завтра? — грустно размышляла Домна. — О чем в эту минуту думают ее мать, сестра? Если бы они знали, что сегодня произошло в городе, где живет царь, тот самый, за которого они всю жизнь молятся?!»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

1

Ткачев вернулся домой под утро озабоченный.

— Как Груня? — спросил он.

— Уже два раза просыпалась, про вас спрашивала... Напоила ее чаем, и она снова уснула.

Иван Петрович стал раздеваться.

— Поешьте чего-нибудь, погрейтесь чаем с холоду... Ну что в городе?

— Большие дела надвигаются, дочка! — садясь за стол, сказал Ткачев. Он старался говорить вполголоса, чтобы не разбудить жену. Но Груня услышала.

— Это ты, Ваня? Подойди ко мне, хочу посмотреть на тебя.

— Грушенька, прости, я, кажется, разбудил тебя? — направляясь к ней, отозвался Иван Петрович. — Как себя чувствуешь? Может, чаю выпьешь?

— Не откажусь, а больше ничего не надо... Я беспокоилась за тебя.

— Напрасно, Грушенька, — подавая ей чашку, сказал муж. — Уж если на фронте не удушили газом, теперь не пропаду. Жаль вот, лекаря не разыскал.

— Обойдусь, Ваня... А меня не уволят? — с тревогой спросила она.

— Не бойся, — погладил по голове жену Ткачев. — В ближайшие дни никто не пойдет на работу.

— Почему?

— Всеобщая забастовка, ответ на расстрелы. Посмотрим, кто сильнее. Меня выбрали в забастовочный комитет. Отдохну, и снова надо бежать...

— Первым же тебя и прогонит хозяин с фабрики, — сказала Груня.

— Может статься, и прогонит. А все же надо кому-нибудь, Грушенька... Спи, все будет хорошо...

Серый, холодный день Домне и Груне показался бесконечно длинным. Утром Домна побежала на фабрику, куда ее послала Груня, чтобы повидать Ивана Петровича. Она несколько раз наведывалась туда. Но Ткачева не вызвали — он был занят.

Фабрика не работала. Дежуривший у ворот рабочий пикет не пропускал никого во двор. Не пустили и Домну.

2

Домна не смогла купить хлеба. Они с Груней наскребли крупы для толстых щей[1], сварили кисель. Ждали Ивана Петровича обедать.

Ткачев пришел ночью, голодный, с покрасневшими, усталыми глазами. Он осунулся, хотя и держался бодро.

— Какие чудесные щи у вас, хозяюшки, — нахваливал он. — Объедение...

— Ванюша, рассказывай, не мучай нас, что и как на фабрике, — поторопила Груня.

— Что ж рассказывать. Пришли в контору, к управляющему. Говорим: «Где хозяин?» Отвечает: «Хозяина нет». Требуем вызвать. «Трамваи, говорит, не ходят, а шофер сбежал». Мы запрягли конторских лошадок да к нему. Роскошный особнячок. У парадного швейцар, вроде Саваофа. Шик, блеск кругом, в глазах рябит с непривычки... Не пожелал нас принять хозяин, приказал гнать вон. Тогда мы сами пошли. Швейцар пытался остановить, — где ему удержать. Зашли в столовую. Как раз обедают. Понятно, не такие щи хлебают... Известно, буржуи...

— И что же вам сказал хозяин? — спросила Груня.

— Предложил прекратить забастовку, иначе, предупредил он, будет уволен каждый третий, а стачечный комитет — в первую голову. Ну мы выложили свои требования: повысить заработную плату, штрафы прекратить, устроить вентиляцию в цехах и все прочее — о чем просили наши. Сказали: пока не будут удовлетворены требования, ни одна душа не пройдет

[1] Толстые щи — кислые щи с перловой крупой.

на фабрику. Показали ему воззвание Совета рабочих депутатов, пусть знает... Я прихватил и для вас листок, читайте. А у меня глаза слипаются. Эх, и всхрапну сегодня! Утром мне обязательно надо в Совет. Если разосплюсь — тумаком в бок, не жалейте.

— Поел ли чего-нибудь днем-то? — спросила Груня.

— Досыта нанюхался буржуйского обеда... Всего наготовили: жареные рябчики, закуски разные, соусы. И в графинчике чего-то поблескивало.

— Ты мне зубы не заговаривай, что видел на чужом столе! — не отставала жена. — Я у тебя спрашиваю: ел ли чего-нибудь днем или опять голодный пробегал? Да ты слышишь меня?..

Но Иван Петрович уже не слышал.

— Умаялся, сердешный, — вздохнула Груня.

— Какой он у тебя хороший, — присаживаясь к Груне, сказала Домна и опять вспомнила Мартынова.

— Всегда такой. Боюсь, как бы он голову свою раньше сроку не сложил, как его отец... Убили... В пятом году... На баррикаде погиб. Домнушка, что за листок он принес?

Домна взяла со стола листовку и пододвинула коптилку. Груня оперлась здоровой рукой на ее плечо.

— «К населению Петрограда и России. От Совета рабочих депутатов, — прочитала Домна. — Старая власть довела страну до полного разорения, а народ до голодания. Терпеть дальше стало невозможно... Население Петрограда вышло на улицу, чтобы заявить о своем недовольстве. Его встретили залпами. Вместо хлеба царское правительство дало народу свинец». Правда, Грушенька, истинная правда! — не могла удержаться Домна.

— Читай... Дальше читай! — велела Груня.

— «Старая власть должна быть окончательно низвергнута и уступить место народному правлению. В этом спасение России.

Вчера... в столице образовался Совет рабочих депутатов — из выборных представителей заводов и фабрик, восставших воинских частей, а также демократических и социалистических партий и групп.

Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами.

Совет рабочих депутатов».

Домна провела рукой по пылающему лицу, сказала негромко:

— А я-то, дурочка, думала... Перебили людей, постреляли — и всему конец. Такая тоска взяла... Даже всплакнула тихонько.

— Всех не перестрелять! Рабочего люда много, очень много.

— И мужиков по деревням! — согласилась Домна.

— Вот видишь! Где им перестрелять такую массу людей?

Домна стала собираться в очередь за хлебом.

— Одевайся потеплее. Обуй мои старые валенки, — предложила Груня.

— Обойдусь. Приплясывать буду. Там весело бывает — и пляшут, и плачут, и смеются... — храбрилась Домна. Стоять в очереди всю ночь, мерзнуть и слушать, как переругиваются голодные люди, было невелико удовольствие. А идти надо. Груня еще не в состоянии выходить из дому, у Ивана Петровича и без того дел много. Но Домна была рада хотя бы этим помочь Ткачевым.

3

Прошло еще несколько дней. Забастовка продолжалась.

Груня уже выздоровела. Она решила, пока свободна, устроить стирку и уборку. Но вот в квартиру Ткачевых вихрем ворвалась раскрасневшаяся Ксюша и, размахивая кумачовой косынкой, звонко крикнула:

— А вы ничего еще не знаете? Царя сбросили с престола, старой власти конец, революция! Домна, собирайся скорее, обойдем квартиры, чтобы все узнали.

Тараторя и смеясь, девушки подхватили Домну, покружились по комнате и умчались с ней, как порыв теплого весеннего ветра.

Хлопали двери в длинных общих коридорах, слышались радостные возгласы, расспросы, восклицания. Люди ликовали...

Домна предложила Ксюше:

— Сходим в город, посмотрим, что там делается...

Они шагали по Петрограду, пробираясь к центру. Но попасть туда было сегодня не так-то легко: улицы были так запружены народом, что, казалось, яблоку некуда упасть. Трамваи не ходили. Всюду на балконах и у подъездов колыхались алые флаги. Весенним бурлящим потоком плыли по улицам праздничные знамена.

— Да здравствует свобода! Да здравствует революция! — выкрикивали многие из участников всеобщей манифестации. Особенно усердствовали, как заметила Домна, гимназисты, студенты, курсистки. А их родители,

столпившиеся вдоль панелей, махали им носовыми платками, каракулевыми шапками, перчатками. У многих в петличках, на груди, были приколоты пышные красные банты и ленты.

По улицам с пением революционных песен дружно, плечо к плечу, шагали колонны металлистов, железнодорожников, ткачей. Четким шагом прошли матросы боевых кораблей, перешедшие на сторону революции солдатские роты. На концах штыков весело развевались кумачовые ленточки и флажки. Гремели полковые оркестры. Все кипело кругом, плескалось в море ликующего шума.

Такой душевный подъем Домна испытывала впервые. Ей казалось, что наступил светлый день, которого она всегда ждала. Даже не верилось: можно было идти и не опасаться — ни полицейских, ни городовых, ни винтовочных залпов...

Домна и Ксюша примкнули к одной из рабочих колонн, пошли в общем строю. Впереди показался Таврический дворец. Здесь размещалась Государственная дума. Здесь и Совет рабочих и солдатских депутатов. Сюда стекались со всех концов города все, кому была дорога революция. Перед дворцом, не переставая, шли митинги. Только одни закончат и пойдут с песнями, площадь уже наполняется новыми колоннами манифестантов. И тут же начинался новый митинг, снова выступали ораторы.

Особенно запомнился Домне один длинноволосый, в пенсне на широкой черной ленте.

— Да здравствует революция, несущая всем свободу, равенство и братство! — кричал он охрипшим от усердия голосом и поднимал обе руки, точно собираясь взлететь. — Ур-ра-а!..

— Как бы не надорвался, бедняга! — сказал седоусый рабочий, стоявший рядом с Домной и, повернувшись спиной к ветру, чтобы зажечь самокрутку, добавил: — Видать, эсеровская шкода. Буржуйский прихвостень! Лучше сказал бы, когда будут войну кончать...

Домна, кивнув, сказала вполголоса:

— Орет про равенство и братство, а с нашим братом поди не сядет рядом... Видали таких!.. — Она вспомнила Латкина, архитектора Космортова и других, любивших на сытый желудок порассуждать о свободе, о братстве, о гуманности...

На митинге выступали и иные ораторы. Они гневно требовали положить конец грабительской войне. Их напряженно слушали рабочие, солдаты, матросы.

— Этот правильно говорит, по-нашенскому! — подтверждали в толпе и аплодировали натруженными, заскорузлыми руками.

Много нового увидела в этот день Домна. Вечером на скамейке у рабочей казармы она делилась с Ксюшей впечатлениями. Ксюша говорила:

— Кончится война — мой вернется. В последний вечер он подарил вот этот перстень. Велел ждать...

— И будешь дожидаться? — спросила Домна.

— Буду... А у тебя нет кольца?

— Нет... Не было времени думать об этом.

— И не целовала еще никого?

— Говорят, у каждого свое счастье. А где мое гуляет, не знаю...

Вспомнились Домне сельские посиделки, пляска под пискливые звуки дудочек-гумов, вырезанных из полого дудника, проводы белых ночей, милые сердцу напевы своего народа, все то дорогое, что она оставила там, у себя дома, у берегов Сысолы и Вычегды. Захотелось взглянуть на родимый дом. Сердце сладко заныло...

Нет, она еще никого не любила. Были парни, которые нравились, но не обращали на нее внимания. Велика ли радость дочь бедной вдовы, батрачка, голь перекатная, у которой все приданое — что на себе! Так и проходила мимо нее любовь. И свежие, нерастраченные чувства ее до времени затаились в душе. А суженый обязательно придет. Есть же он где-то. Проня?.. Между ними как будто начиналось что-то. Парень он с отзывчивым сердцем, не похож на пустоголовых щеголей. Но ведь они так быстро расстались. Она получила от него два письма, а потом, как ножом отрезало, нет и нет! Может быть, нашел другую любушку? Или его и в живых нет?

Ксюша спросила с доброй усмешкой:

— Для кого бережешь себя? Не думаешь ли выскочить за какого-нибудь богатого вдовца?

Домна вспыхнула, сердито сдвинула брови.

— Ты серьезно или в шутку? Дурочкой меня считаешь, что ли? Никогда не буду я себя продавать. И за пьяницу-мужа не буду цепляться, как некоторые бабы. Лучше в омут, чем такая жизнь.

— И я так думаю, — тихо отозвалась Ксюша.

Домна схватила ее руку, прижала к груди.

— Слушай, скажу тебе одной, о чем думаю. Хотела бы я любить такого... ну, как бы сказать?..

— Понимаю: красивого, сильного! — подсказала подружка.

— Красивый? Это не самое главное... Понятно, за урода кому хочется выходить. Но не в том дело... Самое главное, чтобы душой был

красив. И чтобы меня любил больше всего на свете. Жить без любви — небо коптить!..

Они еще долго шептались, пока в окнах не зажглись огни.

4

Домна жила в приподнятом настроении. Казалось, что с падением старой власти все напасти кончились: царя нет, революция победила и теперь все будет хорошо. Хозяин фабрики, испугавшись событий в столице, принял требования рабочих. Фабрика ожила, начала выпускать ситец и солдатскую бязь. Домна каждое утро вместе с Груней и Ксюшей спешила к своей машине. Бежали дни за днями.

Ткачева Домна редко видела. Днем он находился на фабрике, а по вечерам у него вечно были какие-то дела. Вот почему она обрадовалась, когда в воскресенье, ставя на стол кипящий самовар, услышала, как муж шутливо разговаривал с женой:

— Сегодня куда-нибудь собираешься, Ваня?

— Пока не решил. А что?

— Спрятала твою одежду, вот что. Посиди дома. Уже лицо твое стала забывать, до того дожили!

— Значит, домашний арест, — добродушно рассмеялся Ткачев. — Ну, что ж! Пусть будет по-твоему. Однако чаем, надеюсь, напоите меня? Хоть и под домашним арестом, а чай полагается... Ты у меня, Грушенька, строгая стала, что новое Временное правительство. Оно, слышно, собирается вводить смертную казнь.

— Не очень ты любезен к новой власти! — наливая в стакан чаю, заметила Груня.

— Что же мне, молиться за нее? — продолжал шутить Ткачев. — Уволь...

— Почему, Иван Петрович? — спросила Домна.

— У меня нет надежды, что будет польза от этих временных.

— Зачем же тогда было кричать: «Да здравствует революция!»? — недоуменно сдвинула брови девушка. — Я сама орала во все горло. А теперь что же выходит? Поворачивай оглобли к старому?

— Революция была, да не такая, — серьезно заговорил Ткачев. — Царя сбросили — хорошо. Министров в Петропавловку упрятали. И это неплохо. Полицейских с глаз долой убрали... Но посмотрите, кто к власти тянется? Все те же из царской думы: Родзянко, князь Львов, Милюков, капиталисты, фабриканты, помещики. Революцию делали мы, рабочие, солдаты, одетый в сермягу мужик, а власть захватили буржуи. Выходит, обдурили они нас. А для отвода глаз во главе Временного правительства посадили эсера Керенского. Потому и говорю — ждать от Временного нечего.

— Кому же верить? — вздохнула Груня.

— Ленину! — сказал Ткачев.

— Кто это? — спросила Домна.

— Вождь рабочих, большевиков.

— А где он? Почему не слышно про него?

— Еще при старой власти вынужден был уехать за границу. Но, говорят, скоро вернется в Россию. Главная борьба впереди, — рассказывал притихшим женщинам Ткачев.

Груня осторожно, чтобы не помешать мужу, разливала чай.

Домне казалось, что она где-то уже слышала имя Ленин, но где, вспомнить не могла.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Миноносец «Гром», на котором отбывал морскую службу коми паренек Прокопий Юркин, стоял на Кронштадтском рейде. Экипаж заканчивал последние приготовления перед выходом в море. Боевого приказа еще не было, но он мог поступить в любую минуту. Ходили слухи, что немцы собираются захватить Петроград с моря и сосредоточивают в Рижском заливе большие силы. Перед балтийскими моряками стояла трудная задача — сражаться с превосходящими силами противника, погибнуть, но не пустить врага в город.

Царь был уже свергнут, но война продолжала свирепствовать на всех фронтах. Временное правительство не собиралось ее кончать. Февральская революция не принесла народу облегчения.

Получив известие, что в Петроград прибывает Ленин, на миноносце «Гром» пробили боевую тревогу. Судовая команда приветствовала добрую весть. Был организован отряд для встречи вождя. Выделенные матросы на самом быстроходном ледоколе направились в Петроград, на рейде пересели на катера, вошли в Неву и пришвартовались возле Литейного моста. Высадившись на берег, моряки быстро построились и повзводно беглым маршем направились к Финляндскому вокзалу. Вместе со своим отрядом спешил туда и Проня Юркин.

Его теперь трудно было узнать. За два года службы он вырос, окреп, возмужал. Чувствовалась добрая матросская выучка. Бескозырка с лентой как приросла. Лицо с хитроватыми искорками в глазах продубилось солеными ветрами.

Когда матросы прибыли к Финляндскому вокзалу, Проню с группой моряков оставили охранять порядок.

По всей площади, куда ни глянь, виднелись синие рабочие блузы, красные косынки фабричных девушек, серые солдатские шинели и шапки. А из ближних улиц и переулков подходили новые колонны людей.

От команд, восклицаний, разговоров на площади стоял гул. Взгляды были устремлены к невысокому зданию с гранитными ступенями.

Но вот наконец показался Ленин. По площади прокатилось из конца в конец «ура!». В воздух взлетели солдатские шапки, матросские бескозырки, рабочие кепки. Ликование вскипало по всей площади, подкатывалось к подъезду вокзала и, отхлынув, растекалось по прилегающим улицам.

Потрясенный всем этим, Проня боялся упустить из виду Ленина. Не отводя глаз, он следил, как Владимир Ильич, спустившись по ступенькам, направился к броневику...

Затем он увидел его на броневике. Держа в одной руке кепку, другую энергично взметнув вверх, Ленин приветствовал народ.

Проня не все уловил из того, что говорил Ленин, но отчетливо услышал его призыв:

— Да здравствует социалистическая революция!

И снова привокзальная площадь содрогнулась от гула голосов и долго еще, не умолкая, разносилось над площадью:

— Ура-а!..

Когда Проня, увлеченный общим порывом, кричал вместе со всеми, он почувствовал бесцеремонный толчок в бок.

— Эй, матрос! Весь свет загородил широкой спиной. Подвинься, что ли!

Некогда было Проне оглядываться: Ленин спускался с броневика.

Девушка сзади продолжала усердно работать локтями. Матрос огрызнулся:

— Ну куда прешь? Не видишь — матросы тут. — Он обернулся и замер: — Никак, Домна?!

Та тоже взглянула на него и вдруг крикнула:

— Проня?! Чудеса! Обзавелся усами, и не узнать тебя! Подвинься чуточку. Где он? Где Ленин?

— Уехал.

— Уже? Эх, — с досадой сказала Домна. — Так хотелось взглянуть на него.

— Откуда ты взялась? — спросил Проня, разглядывая девушку и будто не веря глазам.

— Пришла с фабричными. А ты?

— С корабля!

— Все еще служишь?

— Так точно! — Проня щелкнул каблуками.

— Рассказывай, как живешь?

— Осенью ранило. Заштопали — и опять служу. Письма мои получала?

— Два. А потом, видать, разленился.

— Писал... Честное слово...

Народ стал расходиться.

Юркин отпросился у старшего по случаю встречи с землячкой.

Вместе с Домной они пошли за народом.

Ночью Ленин выступал с балкона дворца Кшесинской. Тысячи революционных солдат, рабочих и матросов снова с затаенным дыханием слушали вождя. Среди них были и Проня с Домной.

После этих незабываемых событий они гуляли по ночному Петрограду, по притихшей дворцовой набережной.

В ушах Домны звучали слова Ленина:

«Фабрики — рабочим, земля — крестьянам... Никакой поддержки Временному правительству... Долой министров-капиталистов. Долой грабительскую войну. Немедленно заключить мир...»

Может быть, он другими словами сказал — самое главное она поняла.

Предрассветный город был удивительно красив. Мосты на Неве словно висели в воздухе. Громады домов расплывались вдали. За каменным парапетом плескалась полноводная река.

Проня, счастливый, держал в своей руке нежную руку девушки.

— А я на фабрике работаю, — любуясь темно-синей гладью, тихо рассказывала Домна. По воде заскользили первые отблески зари, еще очень робкие, еле заметные. — Помнишь, Проня, как вы с Мартыновым говорили: иди на завод, пробивай дорогу в жизнь.

— Смотри, какая ты теперь стала, — восхищался Проня.

— Какая?

— Другой человек. И глаза по-иному глядят, смело и уверенно. Это хорошо! — Проня стоял спиной к высокому парапету, теребя ленточку бескозырки. — Не подай ты давеча своего голоса, не узнал бы тебя. Вон как изменилась!

— Уж будто?

— А то нет! Смотри — похорошела... Одеваешься по-новому.

Домна мельком окинула себя взглядом.

— Фабричные все так одеваются. Денег на наряды не водится.

— Лучше и не надо. Ты и так хороша! — сказал Проня, любуясь ею.

— Смотри, вот-вот солнце взойдет, — взглянув на восток, сказала Домна. — Здравствуй, утро!

Проня вздохнул:

— Время мне сматывать чалки...

Домна не ответила. Полная восторга, она смотрела на пламенеющий восток...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МАТРОС ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

1

В один из декабрьских дней 1917 года, под вечер, в город Усть-Сысольск медленно въезжала подвода. Взлохмаченная, заиндевевшая лошаденка семенила мелкой трусцой.

В широких крестьянских розвальнях было двое седоков, лежал мешок с рожью, виднелся легкий, уже не новый чемодан самодельной работы, рядом с ним подпрыгивала на ухабах солдатская котомка. Из-под соломы виднелось ложе винтовки.

На перекрестке Георгиевской улицы из розвальней ловко выскочил человек в матросском бушлате и крикнул вознице в рыжем овчинном полушубке:

— Стоп, машина! Кидай якорь, дядя Елесь. Заберу свои вещички, а ты дуй дальше один.

Потерев холодными ладонями уши, матрос постучал мерзлыми каблуками по укатанной дороге.

— Замерз? — спросил ямщик, сочувственно поглядывая на легко одетого моряка. Он вынул руку из огромной собачьего меха рукавицы и стал сдирать сосульки с усов.

— Ничего! — бодро отозвался матрос и, взмахнув два-три раза руками, чтобы разогнать кровь, крякнул, поправил на голове шапку. — Посмотрел бы ты, дядя Елесь, на Балтику в осеннюю штормовую стужу. Там — да-а. Крепко пощипывает. Брызги на лету в ледышки превращаются. А волны, чтобы не соврать, высотой с дом. Иной раз так укачает, не надо и вина, ай-люли пошатывает.

— Смотри, паря, что делается! — удивился возница. — Всякое вам, служивым, довелось видеть.

Матрос взял чемодан, извлек из-под соломы кавалерийский карабин, привычным движением забросил ружейный ремень себе на плечо и повернулся к вознице:

— Спасибо тебе, отец. Довез до дому.

— Не за что, служивый. Подвез-то я по пути. За хлебом нужда заставила ехать. У нас городские торгаши так подняли цены на хлеб, что с живого человека шкуру сдирают. Деревенские богатеи тоже наловчились цены заламывать. Им одежду подавай, сапоги или еще чего-нибудь такое. Отдал я бродни, в которых рыбачить ездил, праздничный пиджак свой да в придачу женин полушалок. Сам дарил ей, сватаясь, а тут пришлось чужой бабе оставить. Жаль до слез, а ничего не поделаешь; дома едоков полная изба. Ума не приложу, как дальше жить, — рассуждал ямщик, поправляя на лошади седелку. — Видать, конец света наступает? Как считаешь?

— Насчет конца света ничего не могу сказать, — усмехнулся моряк. — А вот про Петроград скажу — старым порядкам там положен конец. Царя смахнули, министров в крепость отдыхать отправили. Лучше такого светопреставления, по мне, и не надо... Слушай, дядя Елесь! По-честному скажу: расплачиваться мне с тобой нечем. Хочешь, отсыплю махорочки на пару закруток. Сам понимаешь, не к теще на блины ездил.

— Понимаю: чего взять с солдатика? Угости русским табачком, выкурим по цигарке — и разъедемся. По сердцу пришел ты мне, паря. Всю дорогу распевал и забавлял меня рассказами. Поеду потихонечку до своего Кодзвиля. А ты, милый, дойдешь ли до дому-то? Может, еще подвезти?

— Зачем? Не надо больше. До Кируля рукой подать! Не успеешь ты на своем рысаке до ворот дотащиться, как я у бабушки Федосьи буду на печке портянки сушить. Прощай, дядя Елесь! Сто лет живи и еще прихвати. Полундра! Вот и снова я дома.

Моряк закинул котомку за плечи, прихватил чемоданчик и, поддерживая свободной рукой карабин на ремне, зашагал в сторону Кируля.

Тем временем стемнело. Небо отливало густой холодной синевой. Колючими осколками льдинок поблескивали звезды. Ими был усыпан весь небосвод. Мороз заметно крепчал.

На северной стороне небо выглядело светлее и было похоже на колыхавшийся прозрачный шелковый занавес. Начинало играть северное сияние. Оно проступало все ярче, переливаясь мягкими причудливыми полутонами, иногда пробегало бледно-зеленой волной, вспыхивало холодным огнем и снова угасало, тлея, как подернутые пеплом угли.

Стараясь не замечать холода, моряк шел по кривым улицам уверенно, словно по палубе судна. Он жадно вглядывался в знакомые дома, выискивая, где и что изменилось.

Но город был все таким же: те же деревянные дома с тускло освещенными окнами, сараюшки, бани в глубине дворов, дощатые заборы, изгороди.

В конце Спасской улицы, на углу, выделялся большой двухэтажный дом с ярко освещенными окнами. Здесь помещался городской клуб, или, как его возвышенно именовали, — Благородное собрание. Проходя мимо, матрос заметил в ограде коня, запряженного в легкие санки. Видать, кто-то из купцов прикатил гонять пульку. В освещенных окнах, как китайские тени,

то появлялись, то исчезали силуэты людей. Приглушенно доносились звуки веселой танцевальной музыки. Видимо, забавлялись купеческие дочки с бездельниками из чиновников.

Матрос завернул за угол и зашагал темным проулком. И здесь все те же рубленные из бревен домики, сугробы до самых окон. Тихо и безлюдно. На тюремной улице маячил городской острог, обнесенный глухой стеной из частокола. За этой стеной томились ссыльные, отправляемые по этапу, и другие арестанты. Острог пользовался дурной славой в городе. Матери пугали им не в меру расшалившихся детей. Впрочем, боялись его не только дети...

Впереди показалась кирульская церковь. Несколько дальше, на отшибе, почти у самого берега, стояла старая кузница, где когда-то работал ссыльный Мартынов.

«Где ты теперь, Василий Артемьевич?» — вздохнул матрос и, поправив ремень карабина, ускорил шаги.

Но вот и знакомая избенка. Она все такая же ветхая, вся окружена сугробами, из которых выглядывали колья покосившейся изгороди. Под окном у стены, где обычно складывали дрова на зиму, — ни полена. Снег у крыльца давно не расчищался...

«Видать, не весело живется!» — подумал удрученно моряк. Он поднялся по шатким ступенькам крыльца, прошел через темные сени, привычно нащупал ручку двери, дернул на себя и, наклонив голову, чтобы не стукнуться о косяк, перешагнул порог.

— Здравия желаю! — громко сказал он, закрыв за собою печально скрипнувшую дверь. На его приветствие никто не ответил. Прислонив карабин к стене, Проня (а это был он) скинул котомку и огляделся.

В избе царил полумрак. И только пространство над голбцом и верхняя часть глинобитной печки были освещены коптилкой, поставленной на опорный брус широких крестьянских полатей. От ее зыбкого неверного света внутренность избы казалась еще более мрачной и неуютной.

Осмотревшись, матрос заметил на печке притаившихся детей: мальчика лет семи и девочку года на два младше. Они, прижавшись друг к другу, испуганно наблюдали за невесть откуда явившимся незнакомцем.

— Чьи вы, ребятки? — подойдя к голбцу, спросил матрос.

Мальчонка с темными вьющимися волосами недружелюбно нахмурился и вытащил откуда-то из-за спины старый валенок. Белокурая девочка, наматывая на лучинку лоскутки, отозвалась тоненьким голоском:

— Мы — мамины.

— Какой мамы?

— Нашей!.. — сказала девочка таким тоном, словно на свете существовала одна только мама и уточнять это просто глупо.

— Понятно, — улыбнулся матрос. Ему захотелось приласкать детишек. Но едва он двинулся к ним, мальчик, замахнувшись валенком, крикнул:

— Не подходи, а то стукну по башке!

— Так-таки и стукнешь?

— Стукну.

— А как тебя звать, герой?

— Васюком его зовут, — бойко отозвалась девочка.

— А тебя как?

— Меня Сашук.

— А я Проня. Вот и познакомились...

— Ты — кто? — все еще сжимая в руке валенок, спросил мальчик. — Цыган?

— С чего это ты решил, Васюк?

— Мама поехала в лес за дровами, сказала: «Будете шалить, придет цыган, возьмет в мешок и унесет с собой!» — косясь на солдатскую котомку, сказал мальчик.

Матрос рассмеялся. Он сунул руку в карман бушлата, порылся в нем, но ничего не нашел и снова сделал попытку залезть на голбец. Но детишки в один голос завопили от испуга.

В соседней комнатушке кто-то зашевелился, послышалось кряхтение, покашливание. Затем, шаркая изношенными валенками, вышла старуха, ласково спросила:

— Чего расшумелись, дитятки? Господь с вами!.. — Тут она заметила матроса и удивилась:

— Никак, чужой у нас?

— Не узнала, бабуся? — улыбаясь во весь рот, отозвался моряк и, широко расставив руки, шагнул ей навстречу:

— Это я, бабушка. Непутевый твой Пронька.

— Пронюшка? И в самом деле он, мой ненаглядный. Точно с неба свалился, золотой сыночек. Вот счастье-то! — Старая Федосья прильнула к груди матроса, обхватила его высохшими жилистыми руками.

Не замечая слез, побежавших по ее морщинистому лицу, она начала причитать:

— Пресвятая богородица! Святые угодники! За что мне, старой, такое счастье привалило?! Я ведь не ждала уже тебя и не надеялась увидать живым. Думала — так и придется умереть, не повидав сердешного, не услышав твоего голоса... Уже ладилась в поминальничек записать. А вот же, не забыл господь мои молитвы, снова мы встретились, ласковый мой. Раздевайся, Пронюшка. Скидывай дорожную

одежду. Чай, домой пришел, к своей бабушке, — суетилась растерявшаяся от счастья старушка.

С печки раздался голос мальчика:

— А я думал — цыган!

Бабка замахала на него руками, зашикала:

— И что ты мелешь, Васюк? Какой еще цыган. Это же твой дядя, из солдат вернулся. Спускайся живо, помоги поставить самовар. Кипяточком надо согреть дядю Проню, замерз поди. Вон в какой легкой одежонке, бедняжка! Неужто так всю дорогу и ехал, Пронюшка? — Она сняла с полки крохотную трехлинейную лампу, зажгла, и в избе стало светлее. — Ах ты, боже. Мы дома да замерзаем, а он в дороге в такой-то одежке. Разве не мог получше одеться, сыночек?

— Что ты! Одет я как раз что надо, — отвечал Проня.

— В сапогах-то разве не зябко? — гремя самоварной трубой у печки, рассудительно полюбопытствовал Васюк. — Пальцы на ногах не отвалились у тебя?

— Да нет, — улыбнулся Проня. — В солдатах всю зиму в сапогах и в ботинках прыгаем. На то и матрос.

— А ты разве матрос?

— Так точно. С миноносца «Гром».

— Ружье это... твое?

— Мое.

— А стреляет оно?

— Еще как! Бьет без промаха, точно. — Проня взял отпотевший карабин, вытер его насухо тряпочкой и повесил на гвоздь за изрядно потертый ремень.

Не спускавшая с него глаз бабушка Федосья робко спросила:

— Пронюшка, дорогой! Что уж ты, касатик, вздумал домой тащить это добро? На что оно тебе? Еще выстрелит ненароком.

Проня, сдерживая улыбку, тряхнул головой.

— А вот привез, бабуся. Может, еще и пригодится? — И, меняя разговор, спросил: — Это чьи детишки, бабушка?

— Настасьины, дочки моей двоюродной сестры. Уже с лета живут тут.

— Хорошие ребята! — сказал Проня.

Сняв бушлат, умывшись и причесавшись, он почувствовал себя совсем по-домашнему. Темная фланелька с широким матросским воротником сидела на нем ладно. В полуоткрытый вырез воротника виднелась тельняшка в голубую полоску, а брюки подпоясаны ремнем с блестящей медно-желтой бляхой.

Востроглазый Васютка, когда дядя умывался, заметил у него на левой руке прямо на коже нарисованный якорь. Но больше всего поразила мальчика котомка матроса.

Проня сначала вынул из нее теплый платок — подарок бабушке. Старушка даже ахнула от неожиданности и прослезилась, а он продолжал вынимать и складывать на стол: связку сухой рыбы-воблы, кусок шпику величиной с ладонь, горсть разноцветных леденцов, пачку чая и связку сушек. Детям он тут же дал по калачу и по паре леденцов, а Васютке, кроме того, два стреляных патрона, и тем окончательно покорил его сердце.

Затем Проня вынул из котомки несколько пачек махорки, патроны в обоймах и какие-то две железки, видать, тяжелые.

— Ребята! Это нельзя трогать! — предупредил он детишек и сунул железки подальше на полку, куда малышам не достать. — Гранаты это.

Что значит гранаты — Васюк, конечно, не понял. Но если дядя сказал нельзя — никаких разговоров не может быть.

В глазах мальчонки дядя матрос казался самым лучшим, самым сильным и храбрым из всех людей на свете.

2

Самовар начал шуметь, когда с охапкой дров в избу вошла женщина с изможденным лицом и обметанными губами.

— Гость у нас! — свалив охапку дров у печки, устало сказала она. Женщина поправила выбившиеся из-под платка волосы и, догадавшись, посветлела: — Никак, Проня?

— Он самый! — подтвердила Федосья и сказала Проне: — Это и есть Настенька. Муж погиб на войне, осталась она, бедняжка, с двумя несмышлеными. Куда деваться? Вот и живем вместе. Авось не пропадем. Дровишки кончились, пришлось ей сегодня в лес ехать... Что так задержалась, Настенька? Устала поди, сердешная?

— Ничего. Живой вернулась, — сказала Настя, снимая обледенелый старый сукман[1] и развешивая его на перекладине у печки. — В лесу снегу навалило — не приступишься. Сначала воз отвезла самому Назару, а затем уже себе. Потому и задержалась... Силешек-то никаких.

— С нашей еды не очень забегаешь, — вздохнула Федосья. — Утром ничего не поела. Как будут ноги носить... Назар что, тоже не покормил?

— И не заикнулся...

---

[1] Сукман — рабочая одежда из домотканого сукна.

Проня, слушая их разговор, не удержался и спросил:

— Чего ты вздумала Назару дрова возить, Настя? Сам он, наверно, еще здоров, как бык?

— Он-то здоров. Только уговор такой был.

— Какой уговор?

— Воз ему, воз нам. Лошадь-то его, и сани тоже. Спасибо еще, что лошадь дал, а то бы пришлось на салазках возить... Ну, слава богу, теперь с дровами будем. А понадобится — схожу, поклонюсь Назару или еще кому... О, господи, что за жизнь наступила! Погибель одна!..

— Погибель, да и только! — хлопнув руками по коленам, заговорила Федосья. — Ко мне вон дорогой гость пришел в дом, а угощать нечем. Ах ты, наказание божье. Пронюшка, славный мой, в печке стоят грибные щи. Есть картошка. Может, поешь, сыночек?

— Картошка в мундире? Соскучился по ней. Это же наивкуснейшая еда!

— Тогда садись. И ты, Настенька, тоже поешь. Ребятки, ужинать!

Устроившись в красном углу, Проня привычно очистил картошку и слегка посолил.

— А как у вас с хлебом? — спросил Проня.

— Плохо, сынок, плохо. Лето было холодное, дождливое. Солнышка почти не видели. И осенью нечего было убирать на полях.

— Никак, сглазил кто погоду у нас, никогда такого не бывало, — сердито заметила Настя.

— Сколько же хлеба у вас? — допытывался Проня.

— Раза два постряпать, может, наскребем, — ответила старушка, — а затем ку-ку. И то уже охвостье, солому подмешиваем. Смотри, каким мякинистым хлебушком тебя приходится угощать, ласковый мой. Не осуди, лучшего нет. Да и тот для детишек бережем, а сами больше вприглядку. Мы-то проживем, а они, сердешные, без хлебушка-то увянут, словно побитые инеем цветы...

За столом Проня внимательнее присмотрелся к бабушке. Очень постарела. Из-под платка выглядывали седые, точно литые из серебра, волосы, ласковые глаза потускнели, запали в глазницах, руки тряслись...

— Выходит, неважно живете, — продолжил разговор Проня. — Я привез с собой деньжат, хотя и немного, но все же есть малость. Как, тут можно купить хлеба? Торгуют ли в городе?

— Торговать торгуют купцы, — вмешалась в разговор Настасья, — да цены ужасные! Нам не подступиться! Намедни отнесла в Копчон Гыч Опоню мужнин пиджак, в котором он в церковь ходил. Уж вертел он его, вертел... Всего решето ячменной несеяной муки и отсыпал за него. Говорит, если хочешь хлеб есть, неси что-нибудь получше из одежды. А откуда взять получше-то? Где купить и на что? Сами ходим в обносках, прости господи! Видать, придется с детьми по миру пойти... Куда это тебя понесло? — строго спросила она Васюка, заметив, что тот крадучись вышел из-за стола и куда-то собирается.

— К соседям, — сказал мальчик, вертя в руках патроны, подаренные дядей Проней.

— Не сидится тебе дома, пострел! — начала было выговаривать мать.

Но бабушка Федосья заступилась:

— Пусть сходит... Мы еще не скоро ляжем спать. Видишь, ему же не сидится!

— Только смотри недолго! — согласилась мать и, когда обрадованный Васюк скрылся за дверью, усмехнулась: — Пошел к приятелям хвастаться! Теперь ждите, полная изба их привалит.

И действительно, через некоторое время, один за другим стали появляться сначала дружки и приятели Васюка, а затем и взрослые соседи. В избенке бабушки Федосьи набилось народу — повернуться негде. Заняты были все лавки, опоздавшие устроились на голбце. А ребята забрались на печку и притихли, наблюдая, что делается в избе.

— О, Прокопий вернулся! Здорово! — приветствовали его соседи.

Перекидывались шутками:

— Вот тебе и головорез Пронька! Смотри, каким соколом стал...

— Вырос паренек. Женить надо будет.

— Э! Вдовушек теперь у нас хоть отбавляй! Любая на выбор!

— Зачем вдовушки? Из сухой березы сок не течет... Для него и девушки найдутся. За такого удальца-молодца любая с радостью выйдет.

Улыбаясь, Проня отшучивался...

Навестили Проню и солдаты-фронтовики Арсений Вежев и Андрей, по прозвищу Долгий. Они вернулись домой значительно раньше, но продолжали ходить в солдатском обмундировании, донашивали его. Андрей был в старенькой, местами подпаленной шинельке и в ботинках с черными заношенными обмотками. На Арсении шинель получше, кавалерийская, до пят, хорошие сапоги и серая солдатская папаха с красной кумачовой полоской наискось. Глаза у Арсения острые, ястребиные, и нос у него с горбинкой, как у ястреба.

Солдаты-фронтовики жадно затягивались махоркой, которой угощал их Проня, и расспрашивали, что нового в Петрограде, в Москве, сами рассказывали, где и как воевали, чего насмотрелись на белом свете.

— Нашего брату порядочно уже вернулось домой, — глухим, простуженным голосом сказал Андрей Долгий. — Встречал я тут кодзвильских знакомых, из местечка Ягвыв. В Читу, в Кочпоне тоже есть солдаты. Собрать всех, пожалуй, рота наберется.

— А Ладанов вернулся? — поинтересовался Проня. — Мы с ним на войну вместе отправлялись. В Ярославле в запасном полку некоторое время вместе прыгали. А потом их, учителей и разных других образованных, оставили муштровать там, а меня забрали на флот. С тех пор ничего не слыхал о нем. Жив ли?

— Это ты про зятя Гыч Опоня, что ли? Жив-здоров, — отозвался Андрей. — Прапором вернулся.

— Прапорщиком? Ишь ты! — удивился Проня.

Ему вспомнилось, как они собирались у Красного яра на берегу Сысолы. Тогда Мартынов на последней сходке читал статью Ленина «О поражении своего правительства в империалистической войне». Вспомнил Проня и разговоры у котелка с ухой, и как неожиданно Ладанов заспорил с Мартыновым, яростно заспорил...

«Вот бы теперь поговорить с ним, любопытно, что он запоет?» — подумал Проня.

— Как живет Макар, тот, что кирпичи обжигал Гыч Опоню?

— Вчера встретила его, в город ковылял на своей деревяшке! — сказала Настасья.

— А про Мартынова ничего не слышно? Помните ссыльного, который работал в кузнице у реки?

— Кто ж его не помнит?! Редко такого человека встретишь, мастер на все руки. Да вскоре после того, как вас на войну забрали, его куда-то еще дальше на север угнали, — сообщил мужичок в старенькой малице из оленьей шкуры.

— Постойте! Знаете, где я его видел недавно? — отозвался Арсений. — В Архангельске случайно встретились. На лесопильном заводе работает. Устроился там, как вернулся из ссылки после февральской революции. Между прочим, всем вам, кирульским, поклон просил передать, а тебе, Проня, особо.

— Вот за это спасибо, Арсений! — обрадовался Проня. — Замечательный он человек! Может, и доведется еще встретиться с ним... А скажите, доверенный Космортов тут еще, в городе живет? Перед отъездом на службу я у него в работниках был. За ним еще должок остался... Вместо расчета он мне на прощание такого пинка дал, что я пулей летел с крыльца...

Все рассмеялись, только Андрей Долгий сказал хмуро:

— Этот? Куда деться поганой душе?! Здесь он... За что же он тебя так угостил?

— За листовки. Может, помните, как в успеньев день они летали над соборной горой? За те самые...

— Это ты, что ли, раскидал их?

— Ага! Мартынов поручил... Уж и трепал меня исправник, чуть всю душу не вытряс — все допытывался, кто велел раскидать листовки. Да только не на такого напал... Голубев тоже еще в городе?..

— Этот давно смазал пятки, — отозвался мужичок в малице.

— Жаль!.. Попадись он мне сейчас, повертелся бы он у меня... Что ж, придется взяться за доверенного.

— Как бы он тебя самого не заставил крутиться волчком, этот бородатый леший, — сказал Андрей. — Мне он, браток, недавно судом пригрозил.

— За что же?

— Эх, и не говори! — вздохнул Андрей. — Признаться, малость повольничал я. А если толком рассудить, правда на моей стороне. Дело было так: едва я успел вернуться со сплава, меня цап-царап да к воинскому начальнику, а оттуда прямо на пароход. Не успел ни расчета получить, ни даже жену обнять по-настоящему. Так и уволокли на германскую... Вернулся домой недавно, смотрю — семья голодает, куска хлеба нет. Пошел к доверенному. Так и так, говорю, Кондрат Мокеевич, три года из окопа не вылезал, вас от ворогов защищал. Пришел домой, а тут — хоть шаром покати. Хозяйство в развале, семья голодная. Прикажи в счет старого долга отпустить со склада хлеб, провизии, Погибаем, говорю. Он этак на меня волком... «Я, говорит, знать тебя не знаю и никому ничего не должен!»

Ах, ты, отвечаю, паразит этакий! Ну, ладно, посмотрим! Пошел это я к складу и сбил топором замок, взял кое-что из жратвы... Осуждайте не осуждайте, братцы, а должен был я чем-то накормить семью? Не так ли?

— Ну, и как дальше? Что он, доверенный?

— Доверенный? Пожаловался в управу. Вызвали меня туда. А за главного теперь там Латкин. Может, припоминаешь его? — спросил у Прони Андрей.

— Еще бы не знать такого. Смотри ты... в управу нырнул! — удивился Проня. — Однако ловок, каналья...

— Известно, купеческого роду. Так на меня страху нагнал, грозил острогом, Сибирью! И правда, что ворон у ворона глаз не выклюет...

— Знаю его, он с сынком доверенного заодно, — сказал Проня. — И чем у вас кончилось?

— Как сказать? Пока, видишь, еще не за решеткой. Ну, а что взял — обратно отобрали...

— Весело живете! — сказал Проня.

— Весело, дальше некуда: ни хлеба, ни курева. Повоевали за веру да за царя, а теперь клади зубы на полку! — Андрей Долгий швырнул окурок на пол и придавил стоптанным солдатским ботинком, словно вымещая свое недовольство.

— Что же вы цацкаетесь с такими? Дали бы как следует по зубам, чтобы им жевать нечем стало! Что, воевать разучились, братишки?! — сказал Проня.

— Нет, дружок, так тоже ничего не получится! — усмехнулся Арсений. — В одиночку ничего не сделаешь. Тут мы, фронтовики, организовали Союз военнослужащих. Решили: всем сообща действовать.

— Они теперь наловчились, — сказала Проне Настасья. — Сядут верхом несколько человек, в руках красные флаги. Один в одну сторону летит, другой в другую. А мы, бабы, уже знаем, — значит, опять солдат собирают. Глядишь, с разных концов бегут солдатики.

— Как по тревоге! — не без удовольствия подтвердил Арсений.

— Это вы хорошо придумали, — отозвался Проня.

— А ты думал — мы тут сидим и в носу ковыряем? Свой Совет у нас выбран, — сказал Арсений. — Правда, богатеи пока не хотят считаться с ним, но заставим!

— Выходит, у вас тут и управа и Совет есть?

— Совет наш только-только родился. Из Москвы тут Зайков приехал с группой солдат-фронтовиков. Московский Совет снабдил его мандатом, велел действовать. Ну, мы и решили действовать. В атаку пойдем, драться будем. Только не по-дурному надо.

— Вы бы, служивые, поприжали наших богатеев, — попросила бабка Федосья. — Ни стыда, ни совести не стало у этих жадюг. Цены на хлеб что ни день все выше поднимают. Люди, которые вроде нас, уже давно забыли, каков вкус настоящего хлебушка. А все из-за них, из-за этих живоглотов...

— Это ты верно говоришь, бабушка. Торговцы спекулируют без зазрения совести, а управа словно ничего не видит. Подождите, наведем порядок... — пообещал Арсений. На фронте он состоял в солдатском комитете и кое-чему там научился. Обладая цепкой памятью, он много читал и неплохо разбирался в обстановке и в людях. Здесь его тоже выбрали в солдатский Совет. — Не может быть того, чтобы люди умирали с голоду, а у богатых в амбарах хлеб гнил! Найдем выход... — Заметив, что уже поздно, он встал. — Ну, вы отдыхайте! И нам пора на боковую. Завтра много дел ждет. Проня, желаю доброго отдыха! Думаю, и ты будешь вместе с нами действовать?

— А как же! Вместе будем из буржуев масло жать! У меня есть карабин и еще кое-чего найдется.

— Карабин — это хорошо! — Арсений привычным движением взял ружье, повертел в руках, вынув затвор, посмотрел в канал ствола на огонь. — Ты его, дружок, не запускай. Думаю, пригодится нам. Ну, прощай, матрос! Спокойной ночи. — Он тяжелой солдатской поступью направился к выходу. За ним последовали и остальные.

Было уже поздно, время первых петухов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

1

Красочные афиши на заборах оповещали о благотворительном вечере в городском клубе, как теперь стали называть Благородное собрание. Концерт ожидался большой, интересный, и в этот вечер чиновники и все, кто причислял себя к городской знати, устремились в клуб.

Струнный оркестр, в котором подвизались главным образом приказчики, перед началом концерта бойко наигрывал польки и вальсы. Здание клуба было ярко освещено. Гардеробщик Потапыч с поклоном встречал гостей и внимательно следил, чтобы в клуб невзначай не проскочили безбилетные посетители и мальчишки.

Почтенную публику привлекал, может быть, не столько сам концерт: перед началом его ожидалось выступление протопопа Потопова об организации общества по обновлению коми жизни. Весь сбор предназначался на это дело. Никто не знал, что будет за общество, толковали о нем вкривь и вкось, подогревая общее любопытство. Ожидалось, что на вечере будет присутствовать сам председатель уездной управы.

Латкин на концерт явился с небольшим опозданием. Так было приличнее в его положении председателя управы. Но была и другая причина его опоздания. Днем вместе с пригласительным билетом ему вручили надушенную записочку. Мария Васильевна Суворова бисерным почерком сообщала в ней, что дамы города с нетерпением будут ждать господина председателя, и было бы замечательно, если б он, отложив служебные дела, посмотрел новую постановку — водевиль Чехова «Медведь». В постскриптуме сообщалось, что роль молодой вдовы исполняет сама Мария Васильевна.

Жизнь соломенного вдовца, которую невольно вел Латкин, живя вдали от жены, не изобиловала радостями. К тому же Латкину нравилась молодая жена купца Суворова. Сам Суворов находился в отъезде, не то в Устюге, не то в Вятке, — и Латкин больше обычного был занят своим туалетом. Наверху уже прозвенел звонок, когда он появился в дверях клуба.

— Здравствуй, Потапыч! — сказал он старому гардеробщику. — Не опоздал?

— Вовремя изволили явиться, Степан Осипович, — поклонился Потапыч и бережно принял новенькое пальто с каракулевым воротником.

Латкин осмотрелся перед большим зеркалом и, расчесывая хохолок на голове, спросил:

— Народу много?

— Ежели по одежде смотреть — подходяще, — кивнув головой на гардероб, сообщил Потапыч и, хотя поблизости, кроме них, никого не было, добавил таинственно, вполголоса: — Вас там ждут, Степан Осипович! Уже интересовались...

Гардеробщик не сказал, о ком идет речь, но Латкину этого и не требовалось. Сунув старику керенку, он чуть отступил и окинул взглядом своего двойника в зеркале — мужчину в черном фраке, еще совсем не старого. Правда, начали заметно редеть волосы, но это пока не очень беспокоило. Умело причесавшись, можно выглядеть моложаво. Но вот уши!.. Тут как ни хитри, ничем не поможешь. Какие есть, с такими и будешь щеголять весь век. «Плебейские уши, — недовольно поморщился Латкин. — Оттопыренные в разные стороны лопухи».

— А как с буфетом сегодня? Открыт? — поинтересовался он у гардеробщика.

— Работает, да только там нет того, чего надо бы. Усох наш буфет, совсем усох.

— Разве не подвезли? Я распорядился обеспечить всем необходимым. Такое большое, важное собрание и — без буфета...

— Степан Осипович, не могу знать: буфетчик что-то скучный ходил, не похвалялся... Не забудьте отметиться, — напомнил гардеробщик, подавая журнал посетителей клуба.

Латкин пробежал глазами по странице, на которой были свежие подписи: чиновники из казначейства, служащие управы, судебный пристав, почтовики, учителя гимназии, лесной доверенный.

— А отец Яков? Ага, вот и его подпись. Так, так. — Латкин взял ручку, размашисто подписался. Подписью он остался доволен: председатель управы — это кое-что значит!

— Отлично, — сказал он, еще раз взглянул на себя в зеркало и легкой походкой направился к лестнице, на второй этаж.

По пути он заглянул в биллиардную. Там, у стола, покрытого зеленым сукном, развлекались дербеневские приказчики. Увидев председателя управы, они разом поклонились ему и выкрикнули, точно по команде, одновременно и бойко:

— Здраст-те, господин Латкин! Добрый вечер!

— Вечер добрый! — отозвался Латкин, остановившись. — Шары гоняете?

— Да-с! Оркестр отдыхает, вот и решили позабавиться немного. Ежели желаете, можем уступить. Пожалуйста-с!

«Мошенники! Привыкли извиваться», — пренебрежительно подумал Латкин. Он бросил в урну папироску и направился дальше. Навстречу ему шел дежурный распорядитель, видимо, уже осведомленный о появлении председателя управы.

— Господин Латкин! — воскликнул он. — Давно ждем, без вас не начинали...

Сравнительно небольшой зал, украшенный китайскими фонариками, бумажными флажками и искусственными цветами, был переполнен. Публика в ожидании начала вечера нетерпеливо перешептывалась, приглушенно покашливала. Дамы шуршали платьями, обмахивались веерами, приглядывались друг к другу, кто и как одет. От них сильно пахло духами и пудрой. Главу города и уезда дамы встретили улыбками. Он им отвечал тем же, кланяясь на ходу; прошел в первый ряд и сел в отведенное для него кресло. Лесной доверенный Космортов, оказавшийся его соседом, протянул руку. Но перекинуться приветствиями они уже не успели: перед занавесом появился отец Яков. Он привычно откашлялся и окинул взглядом зал...

Латкин искал глазами Марию Васильевну, но ее нигде не было.

Протопоп, еще моложавый, держался с достоинством, говорил приятным низким голосом, и только жирная перхоть, густо усеявшая ворот и плечи шелковой рясы, портила общее впечатление. Впрочем, это было видно лишь с передних рядов.

Свою речь он начал с древних времен. Прошлое народа коми в его описании было сказочное. Не скупясь на эпитеты, он говорил, как в далеком прошлом по всему северу пролегали торговые пути на солнечный юг и на восток, вплоть до Персии, что здесь, от берегов Ледовитого океана и до самой Москвы, существовало богатое, мощное государство. Он сослался на легенды и предания, на исландские саги и даже упомянул древнегреческого историка Геродота. Свои доводы проповедник подкрепил названиями рек и озер, корни и окончания которых

якобы из языка коми, прихватив и такие отдаленные, как Дон, Нева, Москва.

— Итак, о чем все это свидетельствует? — говорил протопоп. — О том, что древние коми, предки наших прадедов, занимали огромную территорию, весь европейский север. И это было воистину огромное государство — Биармия!..

Он выбросил руки вперед, откинул назад голову и на мгновенье замер в позе пророка. Ему ответили аплодисментами. Особенно старались дамочки, мало что понявшие в его речи, но не упустившие случая обратить на себя внимание.

В конце речи протопоп призвал просвещенную публику уезда не жалеть сил для восстановления прошлого величия и сплотиться вокруг общества по обновлению коми жизни.

— Златоуст! — восторженно шепнул Латкину Кондрат Мокеевич. — Хорошо говорит.

— Да, — согласился Латкин. — Он умеет говорить.

В зале еще гремели аплодисменты, хотя протопоп уже удалился. Латкин оглянулся и увидел невдалеке зятя Гыч Опоня, бывшего учителя Ладанова, в форме прапорщика.

«Значит, и этот вернулся!» — машинально отметил в уме и тут же забыл о нем.

На сцене начинался спектакль. Появилась Мария Васильевна в черном платье, строго оттенявшем ее изящную фигурку. И больше Латкин ничего не видел.

2

В антракте доверенный Космортов пригласил Латкина и протопопа в буфет.

Там было пусто, лишь Ладанов у стойки о чем-то расспрашивал буфетчика.

— Здравия желаю! — козырнул он вошедшим.

— Давно приехали, Алексей Архипович? — пожимая Ладанову руку, спросил Латкин. — Рад вас видеть в родных краях. Что ж не заглянете к нам в управу? Нехорошо, батенька, нехорошо.

— Простите, на днях обязательно зайду, уважаемый Степан Осипович!.. Не желаете ли закурить? С собой привез папиросы «Нега», сейчас редкость.

— Буду ждать, — закуривая душистую папиросу, покровительственно сказал Латкин. — С вашим тестем, Афанасием Петровичем, мы часто видимся. Он гласный, навещает управу, помогает нам. Надеюсь, и вы не останетесь в стороне? Образованные люди нам нужны...

— Весьма рад быть полезным! — щелкнул Ладанов каблуками хромовых сапог. Он был все такой же худощавый, долговязый и нескладный. Военная форма висела на нем, как на вешалке. Лишь в движениях появилась порывистость. Он весь подергивался, говорил торопливо, словно куда-то спешил.

Буфетчик, толстенький, услужливый дядя Ваня, еще с порога заметил знатных гостей и только ждал момента, чтобы обратиться к ним.

— Пожалуйте-с, гости дорогие! — раскланивался он. — Что прикажете подать? Только что вскипятили самоварчик.

— А что еще у тебя есть, дядя Ваня? — уставился на буфетчика доверенный.

— Есть салатик, маринованные рыжички, ваша любимая заливная щука-с, Кондрат Мокеевич!

— М-да, — недовольно скривил губы доверенный. — Раньше, бывало, зайдешь к тебе, и сердце радуется... А теперь — одна скука.

— Истинно так, Кондрат Мокеевич! Совершенно нечем угощать дорогих гостей. Никакой торговли нет. Плохо стали жить, ох, как плохо...

Буфетчик, скосив глаза, посмотрел на Ладанова, спешившего управиться со своим чаем. Как только раздался звонок, приглашающий в зал, прапорщик раскланялся и помчался наверх. Космортов, кивнув головой буфетчику, заговорщически спросил у него:

— Поищи у себя, не найдется ли что покрепче чая? Мы хотим посидеть тут.

Латкин тоже многозначительно подмигнул дяде Ване.

— Поискать можно. Для вас, Степан Осипович! Отчего не поискать...

Буфетчик пошарил в шкафу рукой и, улыбаясь, извлек бутылку смирновской водки.

— Оказывается, была — в уголке стояла, а мне и невдомек.

— Каналья, давай ее сюда, голубушку! — воскликнул Космортов, потирая руки. — Проводи-ка нас в отдельную комнатку.

Буфетчик расставил на подносе бутылку, рюмки, закуску и повел гостей в отдельную комнату. Те, расположившись, как дома, задымили папиросами.

— Хороша, чертовка! — посмотрел доверенный водку на свет. — Уж и прозрачна... Иерусалимская слеза.

— Моя любимая, — щелкнул пальцем по этикетке бутылки Латкин. — Настоящий бальзам.

Протопоп выпил молча.

— Что слышно в мирской жизни, Степан Осипович? — похрустывая маринованными рыжиками, спросил протопоп у Латкина.

— Ничего утешительного, Яков Дмитриевич!.. — отозвался тот. — По слухам, большевики в Брест-Литовске ведут переговоры с немцами о заключении перемирия.

— Позор! — тяжело скрипнув стулом, определил Космортов. — Большевики продадут немцам Россию.

— Истина глаголет вашими устами, — поддержал отец Яков. — Но лучше немцы, чем большевики...

Космортов спросил в раздумье:

— Долго ли еще продержатся большевики у власти?

— Время покажет, дорогой Кондрат Мокеевич!.. — сказал Латкин, и, осмотревшись вокруг, склонился ближе: — Есть новости... Поступила директива Комитета спасения родины и революции. Рекомендуют усилить действия против большевистской власти.

— Значит, Комитет жив?! — обрадовался Космортов и, увидев предостерегающий жест председателя управы, закрыл рот рукой.

Протопоп широко осенил себя крестным знамением и сказал тихонько:

— Слава тебе, господи!.. Позвольте уточнить, Степан Осипович, от кого эта директива?

— От самого Родзянки...

— Зравствует, значит, государственный муж?

— Вполне...

— Сохрани его, господи, от всех напастей, дай силы и мужество, — снова перекрестился протопоп.

Буфетчик принес им чай в стаканах с мельхиоровыми подстаканниками, смахнул со стола крошки и вышел. Проводив его взглядом, доверенный заговорил вполголоса:

— Не будь революции, все бы было иначе. Наша фирма понесла от нее огромные убытки... А что в городе делается! Везде солдатня в рваных шинелях. Распустили мы их, Степан Осипович, распустили... Да-с.

— Вы думаете, с ними легко разговаривать? — возразил Латкин. — Каждый день то один, то другой врываются, стучат кулаком по столу...

— В такое время нельзя падать духом, Степан Осипович! — назидательно сказал протопоп. — Руководителю города и уезда не подобает проявлять слабость. Покажите им свою власть!

— Забываете, господа, в какое время живем, — снова возразил Латкин. — Слава богу, до нас эта большевистская зараза пока не докатилась, но крикунов становится все больше. Они уже свой Совет избрали. А это, господа, плохой признак...

— Уверяю вас, Степан Осипович, — помешивая ложечкой в стакане, сказал отец Яков, — большевики долго не продержатся. А смута в государстве нам на руку. Я имею в виду отдаленность нашего края от столицы и в связи с этим возможность отделиться.

— Каким образом, отец Яков? — насторожился Космортов.

— Наступает золотое время, и наш край вознесется к былой своей славе и могуществу. Биармия должна воскреснуть.

— То есть, как воскреснуть? — удивленно вскинув глаза на протопопа, спросил Латкин.

— Все зависит от нас. Прежде всего, воспользовавшись смутой в стране, мы должны образовать свое государство.

— Ах, вот о чем вы, отец Яков! — наконец догадался Латкин. — Отделиться — легко сказать... А что из этого получится?

— Наш край сказочно богат, вы это знаете. На севере около четырнадцати миллионов десятин леса. Кондрату Мокеевичу виднее, какую выгоду можно иметь от леса.

— Наша фирма получала немалые деньги, — подтвердил Космортов.

— Это от леса, а пушнина, рыба, полезные ископаемые? По подсчетам людей сведущих получится кругленькая сумма в двадцать четыре миллиона рубликов ежегодного доходу!

— Эге-ге! — воскликнул Космортов.

— На эти деньги мы построим фабрики, лесопильные заводы. Кондрат Мокеевич деловой человек и скажет: хватит ли у нас сил поднять лесопильную промышленность?

— А почему бы нет? Если с толком взяться... — поспешил заверить Космортов, который и сам не раз задумывался над тем, как бы освободиться от архангельских хозяев и открыть в зырянском крае лесопромышленную фирму.

— Отделиться, конечно, неплохо, и богатства у нас неисчерпаемые под спудом лежат... — сказал в раздумье Латкин. — Но если дело развертывать с размахом, то для этого нам нужен выход к морю. Архангельские промышленники наверняка скажут: «Стоп, друзья! Осади назад! К морю мы вас не пустим!»

— Печалиться об этом нет особой нужды, — поспешил его успокоить протопоп. — Есть же на свете государства, которые находятся в сходных с нами географических условиях. Швейцария, например, в несколько раз меньше нашего уезда, выхода к морю тоже не имеет. Однако живут, и не плохо. О водных путях всегда можно договориться.

— Будет нужна железная дорога. Своими силами мы ее построить не в состоянии, — не уступал Латкин.

Однако и эти его возражения не застали протопопа врасплох. Придерживая мягкой, холеной рукой серебряное распятие на груди, он стал убежденно доказывать:

— Бояться этого тоже не следует. Уверяю, деньги у нас будут. Ведь и торговля и налоги окажутся в наших руках. А будут деньги, будут и специалисты. Зато какие откроются райские дали! Время подходящее. Смотрите, Степан Осипович, как бы не проморгать. Будьте мудрым и смелым, мой друг!

Латкин пожал плечами, ответил уклончиво:

— Дело серьезное, отец Яков. Надо подумать. Заманчиво, но... Впрочем, если просвещенное общество будет в этом единодушно, я как руководитель уезда всегда готов к услугам.

— Как говорится, за компанию и монах женился, — засмеялся Космортов, разливая по рюмкам остаток водки. — А вам, отец Яков, быть министром.

— Богу богово, кесарю кесарево! — ответил, улыбнувшись, благочинный.

Допив вино, они отправились наверх, где концерт был уже в разгаре.

3

В зале Латкин мало обращал внимания на то, что происходило на сцене. Разговор с протопопом не выходил у него из головы. «На самом деле, какие горизонты вырисовываются, какие заманчивые дали, — размышлял он, полузакрыв глаза. — Если взяться с умом, черт знает каких дел можно наворочать, как разбогатеть...»

Эти мысли преследовали его, пока он не увидел Марию Васильевну. Она уже успела переодеться и снова была в бальном платье темно-синего бархата. Молодая купчиха улыбнулась и еле заметно кивнула ему. С этого момента Латкина совершенно перестали интересовать и концерт и автономия. Он показал ей глазами на выход и, выждав, когда закончится очередной номер, встал и с видом делового человека вышел из зала.

— Как вам понравилась постановка? — кокетливо спросила Мария Васильевна.

— Не могу скрыть восхищения. Получил истинное удовольствие от вашей игры. — Латкин поцеловал надушенные пальчики своей дамы.

Поговорив ровно столько, сколько требовалось для обмена любезностями, Латкин предложил:

— Не пройтись ли нам по воздуху?..

Была уже ночь. Над сонным городом проплывали облака. Ветер дул неровно, то стихая, то снова принимаясь жалобно стонать и метаться. Чувствовалось, что начинается метель.

Они направились по пустынной улице в сторону Кируля. Кутаясь в беличью шубку, Мария Васильевна прижималась к спутнику.

— Ах, какая ночь, — шептала она, зябко подрагивая. — Темно и страшно! Говорят, в такую пору волки рыщут. Недавно собаку задрали тут.

— Трусишка вы, Мария Васильевна! Какой волк на председателя управы нападет?! Я так рад, что мы наконец вместе. Счастливей этой ночи не помню, — обдавая горячим дыханием ее лицо, нашептывал Латкин.

— И я счастлива сегодня. А дома у нас всегда скука.

Осторожно пробираясь проложенными в сугробах тропинками, они бродили, пока не подошли к дому Латкина на Набережной улице.

Согревая своим дыханием ее холодный кулачок, он предложил срывающимся голосом:

— Зайдемте ко мне. Посмотрите на мою монашескую келью, погреетесь...

— Как можно, Степан Осипович? Уже поздно... Что могут подумать люди?

— Вход отдельный, никого из домашних не побеспокоим. Мы ненадолго. К тому же у меня папиросы кончились, портсигар набить хочу. Зайдем на минутку, погреемся, а потом я провожу.

— Только ненадолго...

— Конечно же, конечно! Мы пройдем тихо-тихо, нас и не услышат.

Латкин открыл ключом дверь.

У себя в комнате он быстро снял пальто, также поспешно расстегнул и снял легкую беличью шубку со своей спутницы, схватив молодую женщину на руки, понес на диван.

— Степан Осипович! Степан Осипович! — слабо отбиваясь, шептала она, но вскоре притихла. А он продолжал ей нашептывать ласково и нежно:

— Русалочка. Ясноглазая моя...

МЕТЕЛЬ

1

После длительных холодов небо над Усть-Сысольском заволокло тучами, завыл ветер, поднялась метель.

Ветер дул порывистый и резкий, донося в сердце пармы дыхание далекой Арктики. Там, над ее заснеженными ледяными просторами, стояла полярная ночь. Здесь же, в небольшом

северном городке на берегу Сысолы, хотя и поздно, все же по утрам светало — ночная мгла таяла, и наступал зыбкий рассвет, предвестник короткого декабрьского дня.

Прислушиваясь к вою вьюги, утопающий в сугробах город дремал, точно куропатка в снежной лунке.

Это утро началось обычно. Задолго до рассвета расторопные хозяйки, не привыкшие нежиться в постели, затопили печи, принялись хлопотать по хозяйству.

Дым повалил и из труб земской управы, стоявшей в наиболее оживленной части города, на Спасской улице. Подкидывая в печки дрова, сторож старался согреть к приходу людей выстывшую за ночь казенную хоромину.

А когда забрезжил рассвет, в управу один за другим потянулись запорошенные вьюгой служаки, и все здесь завертелось своим чередом, как и вчера, и полгода назад. Так же мерно отсчитывали время большие стенные часы с тяжелыми, позеленевшими от времени медными гирями, все так же молча и равнодушно взирали из высокой крашеной божницы иконы в фольговой оправе, пахло сургучом и еще каким-то весьма своеобразным запахом, присущим только такого рода казенным заведениям.

Латкин явился в управу с опозданием. Сидевший в приемной статист Харьюзов, личность с острой лисьей мордочкой и мелкими редкими зубами, бросился открывать дверь в кабинет.

— С добрым утречком, Степан Осипович! — быстро кланяясь, приветствовал он начальника. — Как самочувствие-с? Погодка сегодня... вьюга разыгралась!

— Да, метель, — проходя к себе в кабинет, кинул Латкин. — Какие новости, Валериан Валерианович? Поступила свежая почта?

— Сию минуточку узнаю, — ответил Харьюзов и исчез, точно его ветром сдуло.

Латкин не спеша снял пальто, поправил волосы, уселся в председательское кресло и, в отличном настроении после вчерашнего, насвистывая мотивчик из «Риголетто», зажег папироску и с удовольствием затянулся.

В те годы почта из центра шла долго. Сначала ее везли поездом до станции Котлас, затем несколько дней на сменных почтовых лошадях до уездного центра. Железная дорога работала с перебоями, не получающие овса почтовые лошади еле плелись от станции к станции, и Латкин каждый раз ожидал почту с нетерпением. Жизнь в стране неслась с головокружительной быстротой, и каждый день приносил новое.

В газетах Латкина интересовали сообщения о хозяйственной разрухе, о продовольственном кризисе. В его представлении положение становилось настолько отчаянным, что большевикам уже не справиться и осталось ждать всего несколько дней; ну, может быть, недельку-другую, самое большое — месяц. Каждое утро он вставал с надеждой услышать о крахе большевистской власти. Однако дни бежали, а долгожданного сообщения не было.

В сегодняшних газетах, которые положил перед ним на стол Харьюзов, не было ничего утешительного. А пакет, поступивший из губернского центра, даже поверг его в уныние. Из губисполкома запрашивали, как выполняются в Усть-Сысольском уезде декреты Советского правительства, почему до сих пор не упразднена земская управа и не проводится национализация земли? Новая власть требовала немедленно установить на местах революционный порядок, подчеркивая, что земские учреждения повсеместно ликвидируются и вся полнота власти переходит в руки Советов.

Латкин вынул из ящика стола поступивший накануне циркуляр губернской земской управы. В нем было сказано:

«...Петроградский Совет Народных Комиссаров, который считает себя верховной правительственной властью в стране, на самом деле не является таковой.

Все законы Совета Народных Комиссаров не могут считаться общеобязательными законами, и потому не обязательно их выполнять. Законы большевистского Совета Народных Комиссаров о земле и земельных комитетах не следует проводить в жизнь...»

Что делать?

Латкин не против революции и революционных порядков. Еще в студенческие годы он ратовал за революцию. Но, безусловно, не за такую, что устроили большевики в октябре. Не хотелось верить, что это всерьез. Новая власть, новые порядки его не устраивали: еще не успел он как следует обжить кресло председателя земской управы, как его собираются вышвырнуть.

Нет, он не намерен расставаться с этим креслом. Всеми силами надо охранять и защищать существующие в уезде порядки. Да, только так он должен действовать в создавшейся обстановке!..

Латкин порвал и бросил в корзинку губисполкомовский пакет. Некоторое время он сидел, нахмурив брови и слушая, как где-то под полом скребется мышь.

Хорошее настроение, с которым он явился на службу, исчезло. Проклятая почта, лучше бы ее совсем не было...

От заиндевевшего окна Латкин подошел к шкафу и, порывшись в ворохе бумаг, вынул

пухлую папку протоколов крестьянского съезда Усть-Сысольского уезда.

Тогда еще уездный агроном, он председательствовал на этом съезде. Сделал доклад по вопросам сельского хозяйства. Как быстро все меняется!

Полистав папку, Латкин задержался на резолюции съезда:

«Понимая безмерно тяжелое положение родины, съезд постановляет:

Всемерно помогать Временному правительству сохранить страну и революцию от гибели. Съезд призывает всех крестьян уезда подписаться на заем свободы, с тем чтобы оказать максимальную помощь Временному правительству...»

Латкин задумался. Эту резолюцию он сам составлял. Сколько надежд тогда возлагалось на созыв Учредительного собрания! Но прошло всего лишь несколько месяцев, и ни Временного правительства, ни Учредительного собрания. Что же делать, чего ждать? Бросить в печку протоколы съезда и выполнять директивы большевиков? Но тогда придется проститься с земской управой и, может быть, вообще со всяким общественным положением!.. Отделиться, образовать автономию, как советовал протопоп? Но как бы своей головой за это не поплатиться. А если выгорит? Ни тебе декретов о национализации земли, ни других законов Советской власти! Сами хозяева, свои законы будем устанавливать. Кстати, туда же клонит и родной отец...

Отца своего Латкин уважал, считал неглупым человеком. Живет он в достатке, торговые дела ведет отлично. Пользуется общественным уважением. Избирался в городскую думу.

Неожиданно его внимание привлек шум в приемной.

2

Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянула лисья мордочка Харьюзова.

— Степан Осипович, тут матрос скандалит, к вам ломится. Как прикажете поступить?

— Какой еще матрос? Скажите, я занят. Поговорите с ним сами. Мне некогда, видите — пишу.

— Он и слушать не хочет! Толкается, как черт...

— А ну, отвались, канцелярская крыса! — оттесняя от дверей Харьюзова, сказал матрос в черном бушлате и широко шагнул через порог. — Где тут главный? Это ты, что ли, будешь Латкин?

— В чем дело? — слегка оторопев, отозвался председатель управы и даже привстал с места. За последнее время у него не раз бывали фронтовики, но ни один из них, пожалуй, таким тоном не разговаривал. Но, сообразив, что перед ним простой матрос, решил не церемониться.

— Молодой человек, здесь не кабак, а земская управа. Прошу не скандалить.

— Я пришел по делу, а этот ходу не дает.

Убедившись, что от посетителя так-то просто не избавиться, Латкин велел Харьюзову покинуть кабинет, опустился в кресло и сказал усталым голосом:

— Слушаю...

— Я матрос... Раньше Пронькой звали, а так Прокопий Юркин. Здешний я, кирульский.

— То-то, смотрю, будто видел где-то. Не работал ли у Кондрата Мокеевича?

— Было дело: работал у гада. Но я по делу, — шагнув ближе к столу, сказал матрос. — Знает ли управа, как голодают в городе семьи фронтовиков? Бабушка моя старая еле ноги волочит с голодухи. А Настасья, вдова с двумя малолетками, муж погиб на германской... та уж совсем доходить стала, одни кости и кожа. Я решил обратиться за помощью.

Уставив на матроса холодные, немигающие глаза, Латкин выжидал, пока посетитель перекипит и притихнет. Не он первый, этот шумный матрос. И до него были. Погорланят, пошумят и уйдут обратно. Самое лучшее — не дразнить их.

— Вот что, дружище! — начал он как можно мягче и спокойнее. — Я, конечно, все понимаю и верю, жизнь теперь трудная. А кто виноват? Подумай сам, разве мы с тобой виноваты, разве мы затеяли всю эту заваруху? Вина лежит на центре! Там испоганили жизнь... Придется перетерпеть, браток! Найди себе место, поищи работу. Если хочешь, могу замолвить слово перед Кондратом Мокеевичем. Кажется, он подыскивал человека. Сыт будешь при нем. А больше ничем не могу помочь, разве на табачок дать. — Латкин вынул из нагрудного кармана мятую керенку и протянул Юркину. — Это мои личные. Бери...

Матрос с негодованием отвел его руку.

— Смеешься, гад?! Я прошу хлеба для семьи.

— Хлеба у меня нет, милейший. Однако его можно купить. Слава богу, в нашем городе пока свободно торгуют хлебом, были бы деньги. — Латкин взялся за перо, давая понять, что больше говорить не о чем.

— Все вы гады паршивые! — хлопнув широкой ладонью по столу, словно припечатал

матрос. — Говорите, свободно торгуют хлебом... А на что его купить? Вон какие цены заламывают торгаши. Горькая мука по тридцать рублей за пуд, а получше — и все пятьдесят. Откуда взять такие сумасшедшие деньги? На царевой службе капиталов мы не нажили, только буржуйские карманы набивали. Ты ученый тут сидишь и научи, что делать? Для того, что ли, мы воевали, чтобы дома с голоду подыхать?

Терпение Латкина лопнуло. Он вскочил.

— Довольно! Распустились, со службы сбежали, Россию на произвол бросили. Судить мерзавцев...

Кто знает, чем бы это кончилось, если б в кабинет не влетела вихрем женщина в беличьей шубке. Это была Суворова, взволнованная, задыхающаяся.

— Степан Осипович! Ради бога, помогите!.. — начала она и вдруг рухнула на стул, уткнулась лицом в муфту и разрыдалась.

Латкин, забыв про матроса, бросился к ней.

— Мария Васильевна, что случилось? — Суетясь и нервничая, он налил в стакан воды и подал ей. — Успокойся, расскажи толком. Муж вернулся?

— Нет... Ах, как это ужасно! — Суворова вытерла глаза батистовым платочком и стала рассказывать более связно. — Настоящий кошмар. Пришли какие-то нахальные солдаты, потребовали ключи от магазина, опечатали все замки на дверях и сказали: не трогать! Оставили охрану. Слышите, Степан Осипович, что твориться! Хозяин в Вятке, приказчики разбежались... Что мне делать? Неужели эти варвары оберут нас до нитки? — Хорошенькое лицо Суворовой смешно кривилось. — Степан Осипович, заступитесь, ради бога! Только вы можете мне помочь, только вы! — продолжала Суворова. Они собираются опечатать все магазины в городе. Так я поняла из их разговора...

— Вперед полный! Здесь нечего больше пороги околачивать. Лево руля! — скомандовал сам себе Проня и пошел из кабинета.

— Эй, матрос! — крикнул вслед Проне Латкин. — Предупреди там, чтобы немедленно прекратили безобразия! Я им покажу, в острог всех упрячу! Так и скажи всем...

Латкин вызвал Харьюзова.

— Соберите всех, кто под рукой. Я покажу этой солдатне... Мария Васильевна, никто не посмеет посягнуть на вашу собственность! Подумать только, шарить по чужим амбарам. За решеткой им место...

Наспех одевшись, Латкин в сопровождении своих подчиненных направился к дому купца Суворова.

3

Метель между тем разыгралась не на шутку. Ветер вздымал тучи снежной пыли, яростно завывал и метался.

В такую погоду обычно все сидят по домам. Но сегодня на улицах города было людно. Это сразу же бросилось в глаза служакам из управы. Возбужденные лица, настороженные взгляды пугали Харьюзова, старавшегося держаться за спинами сослуживцев. Латкин ничего не замечал или делал вид, что не замечает. Изредка переговариваясь с Суворовой, он невозмутимо шагал рядом, чувствуя себя этаким наполеончиком.

Спустившись к городскому саду, они свернули налево, к большому каменному дому купца Суворова. Вслед за ними молча двигалась толпа. У дома купца Суворова толпа остановилась. Ветер хлестал по спинам, по лицам угрюмых людей, но они терпеливо стояли, тихо переговаривались между собой. Но как только Латкин со свитой приблизился к крыльцу, навстречу шагнул Арсений Вежев в длинной кавалерийской шинели, в лихо заломленной солдатской папахе. Толпа замерла. Сотни глаз напряженно следили за тем, как солдат, загородив дорогу, громко сказал:

— Стой! Дальше ни шагу.

— Почему? — спросил Латкин, засунув руки в карманы пальто.

— Магазин опечатан.

— Кто дал такое распоряжение?

— Городской Совет.

— Какой там еще Совет? Марш отсюда! Не видишь, что ли, кто с тобой разговаривает? Председатель уездной управы. — Злобно разглядывая солдата, Латкин выждал мгновение и крикнул: — Долго мне придется ждать?

— А зачем ждать? Вам сказано: магазин закрыт, и никого не велено пускать, даже самих хозяев. Команда такая дана, и я не имею права нарушать. Топай давай отсюда.

— Как ты смеешь так разговаривать со мной? За самовольство знаешь что тебя ожидает? — Латкин приподнял руку в замшевой перчатке и тут же опустил, как отрубил: — Тюрьма!

— Иди-ка ты! — усмехнулся Вежев. — Вздумал кого пугать. Мы не такого страху натерпелись и не дрожали, чернильная твоя душа!

Вежев вынул кисет, оторвал лоскуток газетки, свернул самокрутку и так же неторопливо протянул кисет Андрею Долгому, стоявшему рядом.

— Скоты! — процедил сквозь зубы Латкин и шагнул вперед, намереваясь обойти солдат.

Однако Вежев, цепко схватив председателя управы за рукав пальто, остановил его.

— Ты что, не понимаешь, что говорят? Лавка опечатана. Совет опечатывает все частные торговые лавки в городе, конфискует хлеб, товары, затем передаст кооперации. Кончилась частная торговля. Будет торговать только кооперация.

— Вот вы что надумали? Среди бела дня разбоем заниматься. Чтобы глаза ваши бесстыжие лопнули! — волчицей метнулась к солдатам Суворова.

Вежев спокойно окинул взглядом купчиху и бросил с усмешкой:

— Зачем ругаться? А еще образованная.

Но разъяренная Суворова не унималась... Вежев поправил на голове папаху с кумачовой лентой наискось, сдвинул брови и сказал отчетливо, чтобы все слышали:

— Вы забыли совесть и стыд, народ грабите, спекулируете хлебом, на людской нужде наживаетесь! Вот и шубка, что на тебе, милая, тоже людскими слезами умыта. Рассказать почему?.. Люди трудились, утопали в снегу, охотились на белок, а ты задом вертела, в том и вся твоя заслуга.

— Хам! Как ты смеешь оскорблять благородную даму? — вскипел Латкин.

— А что, разве неправду говорю? Спроси у народа! — показал на толпу Вежев. — Мы не грабить собираемся, а по справедливости хотим разделить между трудовым людом то, что он своим горбом нажил. Сейчас везде так делают.

— Это узурпаторство, разбой! Грабежом это называется, и за это судят! — пригрозил Латкин.

— Знаешь, что я тебе скажу, господин хороший. Мы были в управе твоей не раз, добром просили, а ты и разговаривать с нами не хотел...

— Я сегодня был у него в управе. — Проня Юркин вскочил на крыльцо и встал рядом с солдатами. — Думаете, помог он мне? Протянул керенку, на, говорит, тебе на табачок. А у нас ни крошки хлеба, ребятишки пухнут с голоду.

— Все голодаем! — послышалось из толпы.

— Слышите, господин Латкин? — спросил Арсений Вежев. — Если управа не может помочь, мы сами наведем порядок в городе! Не дадим ребятишкам помереть с голоду. А ты нам не мешай, не путайся под ногами; добром говорим — уходи отсюда. А ежели по-солдатски сказать: кругом марш! И никаких гвоздей!

— Взять его! — приказал своей свите Латкин. — Поговорим с ним в управе.

Однако, кроме Харьюзова, никто с места не тронулся, хотя Суворова ободряла выкриками:

— Хватайте их всех! Чего боитесь?

Вежев взял разошедшуюся купчиху под руку, отвел ее в сторону и предупредил:

— Ты, хозяюшка, не мути воду, а то, смотри, наши бабы вон как на тебя косо смотрят. Как бы худа не было.

Воспользовавшись тем, что старший из солдат отвлекся, Латкин взбежал на крыльцо, протянул руку к сургучной печати и с силой рванул ее. В толпе раздался ропот, люди хлынули к крыльцу, но председатель управы осадил их резким окриком:

— Тихо! Приказываю немедленно разойтись! За незаконные действия будем судить каждого, а заодно и тех, кто помогает смутьянам...

Латкин собирался еще что-то сказать, но подоспевший Вежев оттолкнул его плечом и обратился к народу:

— Товарищи! В Петрограде, Москве победила пролетарская революция, установилась Советская власть. Только у нас по-прежнему верховодит управа. Сами видите, управа защищает спекулянтов... Эй, кто там посильнее — подходи сюда! Отведемте в Совет самого Латкина.

Проня Юркин и еще несколько мужчин кинулись к Латкину, но тот оттолкнул их от себя.

— О, да он злющий, что медведь-шатун! — схватившись за раненую руку, воскликнул Андрей Долгий.

Проня попытался схватить Латкина сзади, но тот рванулся изо всех сил, так что даже шапка его слетела с головы и с треском отскочили пуговицы пальто.

Дружно навалившись, мужики наконец осилили Латкина, заставили спуститься вниз, окружили со всех сторон и вывели на дорогу.

— Шагом марш! Шевелись, не задерживай людей! — покрикивал Арсений Вежев. Под одобрительные возгласы и смех толпы Латкина повели, подталкивая, когда он сопротивлялся, то коленом под зад, то кулаком в бок.

— Волка поймали, волка! — хлопая в ладоши, возбужденно прыгал в толпе блаженный Терень, которому кто-то нахлобучил на голову каракулевую шапку председателя управы.

Проню догнала женщина в больших стоптанных валенках:

— Служивый, не серчай на старуху. Коли не обманывают глаза, вроде ты Проня?

— О, тетушка Наталья! — воскликнул удивленный матрос. Он никак не предполагал, что может встретиться с матерью Домны.

— В городе я теперь живу, у дьякона в прислугах, — говорила она, семеня рядом с матросом. — Вышла отряхнуть половички, смотрю, по улице народ бежит. Спрашиваю, куда спешите, люди добрые? Хлебушек, говорят, будут раз-

давать из купеческих амбаров. Бросила я все и давай догонять других... А тебя, паренек, какими ветрами занесло? Не из Питера ли прикатил?

— Угадала, Наталья Ивановна, из Питера.

— Случайно не видел мою Домнушку в Питере?

— Как же, встречались. Она низкий поклон просила вам передать.

— Расскажи, миленький, как она там живет. Здорова ли?

— Выглядит здоровой. Только похудела малость. В Питере теперь с харчами тоже не ахти как богато живут.

— А домой не ладится возвратиться?

— Весной собирается, с первыми пароходами.

— Скорее бы, совсем я по ней истосковалась.

— Приедет, — обнадежил старушку матрос. — Не горюй, Наталья Ивановна. Вся жизнь скоро к лучшему переменится, наступим гадам буржуям на хвосты, хлеб у них отберем.

Догнав толпу и больше не отставая, Проня по пути рассказывал Наталье Ивановне, как они с Домной слушали Ленина в Петрограде в апрельские дни и после, взволнованные и радостные, бродили по набережной Невы до самого восхода солнца.

ПРОЩАЙ, ПЕТРОГРАД

1

Зима осталась позади. Домна по-прежнему жила у Ткачевых, работала на той же фабрике, бывала в рабочем клубе, недавно открывшемся у Нарвских ворот, училась петь новые песни.

Весна принесла Домне много нового. На фабрике у них уже не было старых хозяев. Мастера заметно притихли. Новая, рабоче-крестьянская власть издала декрет о передаче в руки народа фабрик, заводов, банков, железных дорог, всех богатств страны.

— Это уже наша революция, народная! — как-то раз, вернувшись из Смольного, сказал Домне Иван Петрович. — Теперь сами хозяева.

Все это наполняло сердце Домны настоящей, большой радостью. И эти весенние дни ей казались необычайно красивыми, светлыми, а жизнь дороже и желанней.

Теперь она смотрела на жизнь как бы с птичьего полета, широко и объемно. Этому видению научил ее Ткачев, фабричные друзья и весь революционный Петроград, к которому девушка из пармы успела прикипеть сердцем.

Но эта же весна принесла Домне и неприятность. Не успела еще освободиться ото льда Нева, как закрылась фабрика, и девушка осталась без работы.

Найти работу в те дни было трудно. Почти везде закрывались фабрики и заводы. Не было ни топлива, ни сырья. У заводских ворот, на улицах, на вокзалах толкались люди, ищущие работу. Многие из рабочих начали покидать голодающий город, уезжали в деревню, к родственникам, где жизнь была полегче. В последнем письме сестра Анна просила Домну вернуться домой.

Домна получила письмо и от матери.

«...Стареть стала я, доченька золотая, — писала мать. — Не зря говорится: если утреннее солнышко не пригрело, вечерним не нагреешься... Тяжело стало мне мыкаться по чужим углам да людей обстирывать. Приехала бы ты — успокоила мое истосковавшееся сердце. Пока жива, хочется повидать тебя, мое ненаглядное дитятко, прижать к своей груди, услышать голос твой звонкий...

Скоро тронется лед на Вычегде, пароходы пойдут, дорога тебе откроется до самого дому. Беспокоюсь я очень, писать ты стала редко. Не случилось ли что? Сказывают, худо там у вас живется. А дома, говорят, и нетопленная печь греет. Спеши, родная, не задерживайся долго. Ждем тебя не дождемся...»

Письмо матери привело Домну к решению не тратить времени на поиски работы и ехать домой. Она помогла Груне перестирать белье, выгладить его, заштопать. А когда Нева освободилась ото льда и по реке пошли первые пароходы, Домна стала собираться в дальнюю дорогу.

2

Наступил день отъезда. В это утро Домна встала ранехонько, еще солнце не успело подняться над крышами домов рабочей слободки.

Поезд отправлялся после полудня, а до того нужно было многое сделать: уложить вещи, сбегать на рынок купить гостинцев для домашних. И еще хотелось погулять по Петрограду, который стал дорогим и близким, как добрый знакомый. Домна теперь свободно ориентировалась в городе, особенно на Васильевском острове, у Нарвских ворот, в центре, где любила в свободное время прогуливаться.

Управившись с дорожными хлопотами, она решила навестить своих фабричных подруг.

Ткацкая фабрика не работала, ее прокопченная труба не дымилась, вокруг было тихо и пусто. Большие железные ворота были на запоре, кругом — ни души, лишь у проходной

будки, в пыли, на солнечном припеке резвились воробьи.

Домна долго смотрела на кирпичные стены знакомого фабричного корпуса, безмолвные, как заброшенный дом. А ведь совсем недавно здесь было оживленно, особенно в утренние часы, когда с гудком фабричный люд, миновав проходную будку, растекался по цехам.

В раздумье она присела на скамеечку у проходной, где в обеденный перерыв фабричные девчата, делясь между собой последним куском, смеялись над своими похождениями, читали газеты.

Домна в последний раз взглянула на фабрику и пошла...

День выдался на редкость хороший. По небу плыли легкие серебристые облака. Ласково пригревало майское солнце.

Домна пешком направилась вдоль Университетской набережной, перешла Дворцовый мост, любуясь Невой, чайками в небе. Она старалась запечатлеть в памяти, оставить навсегда в сердце все то, с чем суждено ей сегодня расстаться.

И вот снова Дворцовая набережная. Много раз она бывала здесь и не могла налюбоваться монументальным величием Зимнего дворца. У массивных узорчатых ворот Летнего сада Домна замедлила шаги. С каким удовольствием она скинула бы полусапожки и пошла босиком по нагретой солнцем земле, как в детстве.

Проходя мимо ограды Летнего сада, Домна с детским любопытством прислушивалась, как в зелени цветущих лип перекликались разноголосые пичужки. А на мостовой кокетливо прыгала невесть откуда залетевшая сюда бойкая трясогузка, напомнившая Домне широкие просторы родной пармы.

3

На вокзал Домну провожали супруги Ткачевы и Ксюша. В трамвае Иван Петрович, пристроив у ног котомку девушки, говорил глуховатым голосом:

— Не беспокойся, девушка, мы тебя проводим и поможем сесть в вагон. И кати домой! Чай, рвется сердечко?

— По матери соскучилась, да и сестру Аннушку хочется повидать, — ответила Домна.

— Понимаем, — сказала Груня, заботливо поправляя на голове Домны косынку, которую подарила ей, когда они собирались на демонстрацию. — Жила ты у нас вроде дочки. Не осуждай нас, Домнушка, коли чем обидели.

— Вы не осуждайте меня за беспокойство. Жила у вас, как дома. Спасибо тебе, Груня, и вам, Иван Петрович. Всегда буду вспоминать, столько вы сделали мне добра.

Ткачев по-отцовски потрепал ее по плечу, сказал:

— Ничем ты нам не обязана. Будем рады принять тебя снова. Будем рады и твоим письмам. Передай наш привет твоим домашним... Пиши, как устроишься там. Обязательно напиши!

— И мне не забудь написать, как приедешь, Домнушка, — слегка дернув за рукав жакетки, попросила Ксюша.

— Спасибо, Ксюша, — сказала Домна и тихо добавила: — Скучать буду. Уж так буду скучать!..

Некоторое время все молчали, углубленные в свои мысли. Затем Ткачев сказал с грустью:

— Вот так и разлетимся по разным местам. Сегодня Домну провожаем, а через несколько дней и мне надо собираться в дорогу.

Утром Иван Петрович предупредил, что на днях он выезжает с продовольственным отрядом на юг страны собирать хлеб для голодающего Петрограда.

Ткачев помолчал в раздумье и обратился к Домне:

— Видела сегодня в газете правительственное воззвание? Нет? В Москве объявлено военное положение: раскрыт заговор эсеров и монархистов. А на Дону поднял восстание генерал Краснов. Знаю его, собаку. Прошлой осенью он шел на Петроград, да попался в плен. Надо было с ним кончать. А мы выпустили. Поблагородничали... Вот он и поблагодарил, поднял восстание. Так-то, Домнушка. Думаю, и там, куда ты едешь, разгорится борьба не на жизнь, а на смерть.

— Что ты, Ваня! У них край лесной, тихий, — возразила Груня. — Не пугай девушку.

Иван Петрович сказал:

— Я и не пугаю. Только ведь и там у них есть богатеи. А они везде одинаковы. Новая власть лишила их сытой жизни, награбленного богатства. Что же, они так просто и смирятся?

Ткачев вынул из кармана блузы аккуратно сложенную газету и передал Домне:

— Мне она уже не нужна, успел прочитать. Да и еще смогу достать. А в вагоне где ты ее возьмешь?.. Ну, вот, кажется, подъезжаем? — взглянув в окно, добавил он. — Давайте собираться. Скоро нам выходить.

Домна развернула газету. На первой странице было крупным шрифтом напечатано воззвание Совета Народных Комиссаров. Оно начиналось словами:

«Рабочие и крестьяне! Честные трудящиеся граждане всей России! Настали самые трудные недели...»

— Спасибо, Иван Петрович! — сказала она, пряча газету. — Я прочту в вагоне.

— И другим не забудь показать! Пусть все читают. Это надо знать каждому.

4

У Николаевского вокзала толкучка оглушила Домну. Надсадно звенели переполненные трамваи, дребезжали извозчичьи пролетки. Тут и там раздавались крики носильщиков с багажом, лоточников, торгующих сомнительной снедью. Были в толпе и разбитные девицы, женщины с детишками и студенты. Встречались военные в офицерской форме со споротыми погонами, бородатые солдаты, раненые, спешившие попасть домой. В шумной, разноголосой толпе шныряли бойкие спекулянты, нагруженные узлами, мешками, корзинами.

— Мешочники! — презрительно буркнул под нос Ткачев. — Порыться у ним в мешках, там и масло найдешь и крупу. У спекулянтов все есть, а народ голодает.

— Ни стыда, ни совести у них! — с раздражением сказала Груня. — Уж я-то их знаю: все, что у нас было в доме, перетаскала на рынок, этим вот... Позабирать бы всех...

— Забирают, ловят! — возразил муж. — Разве всех пересажаешь? Смотри их сколько, словно клопов, повылазило из щелей.

Людской поток вынес наконец Домну и провожающих на перрон. Тут было еще больше сутолоки. У вагонов образовалась настоящая давка. Людей, стремившихся попасть на поезд, было слишком много. Каждый хотел занять лучшее место и, без стеснения толкаясь, крича, переругиваясь с проводниками, силой лез в вагон.

— Эй, ворона! Что рот разинула, дай пройти с вещами! — крикнул почти в ухо Домне носильщик с двумя солидными чемоданами на ремне через плечо, узлами, картонками, дорожной сумкой в руках.

Она оглянулась и увидела своих старых хозяев — архитектора Космортова с женой. Космортов деятельно помогал жене и даме с тремя детьми пройти в вагон. Дама держалась с холодным высокомерием, словно не замечая окружающего. Она выглядела моложаво, хотя дети у нее были не маленькие. Старшему мальчику лет пятнадцать, второму года на два меньше, девочке лет одиннадцать.

— Софи, проходи в вагон! Ольга Львовна, разрешите, я помогу вам подняться на ступеньку! Позвольте вашу руку! — озабоченно хлопотал Космортов.

— Олег! Глеб! Что же вы смотрите? Помогите Галочке взобраться на ступеньку! — властным голосом поучала мальчиков их мать. — Михаил Кондратьевич, побеспокойтесь, пожалуйста, о моем багаже. Распорядитесь, чтобы доставили в наше купе! Милая Софи, что с вами? У вас такое измученное лицо.

— Ах, я безумно устала! Мишель, где моя сумочка? Там веер, будь добр, достань. Ах, какой здесь шум. И куда нас понесло? — Приставив пальчики к вискам, жена архитектора болезненно морщилась и жалостливо стонала. — У меня начинается мигрень. Мишель, где ты?

— Я здесь, дорогая! Проходите быстрее в вагон, наше — пятое купе. Ольга Львовна, не волнуйтесь за багаж, все будет в порядке, — успокаивал представительную на вид даму взопревший Космортов. — Эй, носильщик, ко мне, быстро! Внеси вещи в пятое купе! Да, черт побери, шевелись, скоро поезд тронется!

Космортов был одет по-дорожному — в полувоенный костюм, в ботинки с крагами, с флягой на боку. С незнакомой дамой он держался почтительно, даже подобострастно, мгновенно выполнял каждое ее желание. Видно, это была птица особого полета. Домна слышала, как кричал Космортов, отталкивая от дверей наседающих пассажиров:

— Куда вы? Это спальный вагон! Проходите дальше! Что за народ пошел?! Никакого стеснения!

Не будь Ивана Петровича с Груней и Ксюшей, Домна едва ли попала бы на поезд. Они помогли ей протиснуться сначала в тамбур, а затем и в вагон. Вещи Ткачев ухитрился передать через окно.

В поисках свободного местечка люди возбужденно переругивались.

Оглядевшись, Домна обратила внимание на молодого солдатика со шрамом над бровью. Солдат, свесив ноги в ботинках и черных обмотках, наяривал на гармошке что-то очень знакомое.

— Эй, служивый! Откуда будешь?

— Коми! — перестав играть, отозвался тот.

— То-то слышу знакомую песню «Шондибан».

— Угадала! Откуда знаешь?

— Еще бы не знать. Сколько раз дома певала... Я сама коми, выльгортская. А ты из каких мест?

— Из Маджи.

— Маджский кашеед, — пошутила Домна. — Вот как славно получается, попутчика нашла! Будем вместе добираться?

— Да уж вместе, выходит! — тряхнув стриженой головой, весело подмигнул землячок. Он

готов был еще полюбезничать, но Домна повернулась к окну. Вагон тронулся с места.

— До свидания, Иван Петрович! — крикнула она Ткачеву. — Грунюшка, дорогая, прощай! Счастливо оставаться, милая Ксюша!

Все это время она мужественно сдерживала себя, старалась бодриться, даже улыбалась, но теперь, когда под ногами вздрогнул и слегка закачался пол вагона, — у нее перехватило дыхание, больно защемило сердце. Сделав над собой усилие, чтобы не расплакаться, она продолжала улыбаться сквозь навернувшиеся слезы. Больно было расставаться с друзьями. Те бежали по перрону вслед за вагоном, тепло напутствовали.

— Доброго пути, Домнушка! Счастливо доехать до дому! — В последний раз она еле уловила голос Ткачева.

Поезд набирал скорость. Уже скрылись из виду провожающие. Кончился перрон. Словно обрадовавшись, паровоз дал пронзительный гудок и сильно рванулся вперед. Замелькали привокзальные служебные постройки, будки, дорожные знаки. Колеса застучали на стыках рельсов, отсчитывая первые версты. Город уплывал, заволакиваясь сизой дымкой.

Домна продолжала стоять у окна, мысленно прощаясь с городом.

«Неужели навсегда? Улыбнется ли мне счастье когда-либо еще пройтись по твоим улицам, Питер?.. Прощай, прощай, Петроград!..»

В РОДНЫЕ КРАЯ

1

Пора было найти местечко, хотя бы присесть, дать отдых ногам. Внизу сидели трое — муж с женой и мужчина у окошка в глубине. В проходе громоздились вещи пассажиров: мешки, узлы, корзинки. Напротив сидел солдат, вытянув забинтованную ногу вдоль скамейки. Опираясь на костыль и слегка откинувшись на спину, он дремал. Бледное лицо выражало усталость. Его не потревожишь. Рядышком с ним, на самом краешке скамейки, сидела худенькая русоволосая женщина.

«Видать, жена...» — догадалась Домна.

На верхней полке растянулся мужчина средних лет, в сорочке навыпуск. Пиджак его был аккуратно уложен в изголовье. По одежде трудно угадать, что за человек. Лежит, как нагулявший жир налим, блаженствует.

Домна снова посмотрела понизу и встретилась глазами с полной женщиной, наблюдавшей за ней настороженно и недружелюбно. Из-под широкой со сборками юбки ее выглядывали добротные башмаки на высоких каблуках. На плечах был небрежно наброшен яркий кашемировый платок. Высокую грудь обтягивала голубая сатиновая кофта. У женщины было румяное лицо. На губах играла самодовольная усмешка. Около нее возился с чайником муж, уже немолодой, прямой и жилистый, с равнодушным лицом. Такой поди и улыбнется-то раз в год. Эта чета успела разжиться кипятком. У них на разостланной газете лежали жареная рыба, вареные яички, соль в спичечной коробке.

Первым с Домной заговорил сидевший у окна человек, по виду мастеровой:

— Ты, девушка, чай, не нанялась стоять. Садись на мой чемодан или вот на этот мешок. В тесноте, да не в обиде.

Домна улыбнулась ему: не перевелись еще на свете добрые люди! Но только она собралась присесть на мешок с чем-то мягким, как раздался голос женщины с круглым лицом:

— Ишь нашелся! На свои вещи сажай, а чужими не распоряжайся. Вагон большой, пусть в другом месте устраивается.

Домна сказала ей:

— Тесно тебе, ты и ищи себе место, а мне и тут ладно, — и присела на старенький чемодан мастерового.

Сверху свесилась стриженая голова солдата из Маджи.

— Ты что это, тетя, обижаешь мою землячку? Заняла лучшее место и раскудахталась.

Лицо женщины вспыхнуло, зеленые глаза заблестели.

— Какая я тебе тетя? Твои-то тетки на четырех бегают, гав-гав лают... Если нужна девка, посади себе на колени, а добрых людей нечего беспокоить. И так повернуться негде, хоть задыхайся.

— Все уместимся, не велики баре, — вмешался в разговор солдат с забинтованной ногой и ласково обратился к жене:

— Марьюшка, что-то пить захотелось. Выволакивай чайник на свет божий!

Женщина достала из-под скамейки большой чайник, из солдатской котомки вынула сухарей, белую алюминиевую кружку, налила кипятку и подала мужу.

Солдат взглянул на Домну, предложил:

— Давайте вместе чай пить. Марьюшка кипяточком раздобылась, она у меня молодец! Чайник большой, на всех хватит. — Затем, приподняв голову, он спросил у солдата с верхней полки: — Эй, браток, как тебя ругают? Как звать, спрашиваю?

— Исаков Ардальон я! А что?

— Спускайся, Ардальон, прополощи кишки. Хватит тебе свою гармошку терзать.

— Я и сам умаялся с ней. Сделаю смену караула. Нацедите кружечку и подайте сюда.

Домна, поблагодарив служивого, вынула кусок хлеба, кружку. У сгруппировавшихся вокруг чайника пассажиров завязался обычный дорожный разговор. Солдат с костылем рассказал, как ему чуть не оттяпали ногу, говорил, что едет с женой за Вятку, до станции Мураши, домой, к детишкам.

Пассажир у окошка, услыхав о Мурашах, сказал:

— Выходит, мы с тобой, служивый, вроде земляки. И я из тех же краев. Про деревеньку Спасскую слыхал? Оттуда я.

Домне нравился этот сердечный человек, судя по его рукам со следами окалины — кузнец или слесарь.

К ним подошел грязный, нечесаный подросток в лохмотьях и запел тонким голосом:

Трансвааль, Трансвааль! Страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Было ему лет девять. На голое тело накинут пиджак взрослого, рукава закатаны, полы подхвачены веревочкой. Босые ноги потрескались. В загрубевших, давно не мытых руках облезлая шапка, которую он протягивал за подаянием.

— Брысь, паршивец! Уходи, уходи отсюда! — замахала руками женщина в сатиновой кофточке. — Гоните его, поганца, натрясет тут вшей. Гляди, как бы чего не свистнул.

Домна стала расспрашивать мальчугана, чей он и куда едет?

— Ничейный я, — глядя в сторону, угрюмо ответил мальчик. — Один я, сирота.

— А где отец?

— На войне убили.

— А мама?

— Умерла... От тифа.

Домна разломила хлеб пополам, напоила паренька кипятком, потом долго прислушивалась, как где-то звучал в конце вагона надтреснутый детский голосок.

Уставшие пассажиры притихли. Кое-кто уже задремал.

Поправляя жакетку, Домна нащупала газету, что дал ей Ткачев. «Рабочие и крестьяне! Честные трудящиеся граждане всей России! — прочитала она в тусклом свете грязного окна. — Настали самые трудные недели. В городах и во многих губерниях истощенной страны не хватает хлеба... Корниловцы, кадеты, правые эсеры, белогвардейцы, саботажники объединились в тесный союз между собой и с иностранными агентами. Клевета, ложь, провокация, подкуп, заговор являются их средствами борьбы.

В эти трудные дни Совет Народных Комиссаров считает необходимым прибегнуть к чрезвычайным мерам для прокормления голодающих рабочих и крестьян и для сокрушения врагов народа, покушающихся на Советскую республику.

Дело идет прежде всего о хлебе насущном.

Нужно вырвать его из цепких рук кулаков и спекулянтов. Не только земля и фабрики, но и хлеб должен быть общенародным достоянием...

Вперед к последнему бою и к окончательной победе!»

Воззвание было подписано Лениным.

Домна вспомнила весенний день, площадь у Финляндского вокзала, запруженную народом, и Ленина, говорящего с броневика...

Ее размышления перебил ехидный голос краснощекой пассажирки.

— Ишь ты, газеты читает!.. — с усмешкой сказала она мужу. Тот в ответ лишь махнул рукой.

Сидевший у окна рабочий потянулся к Домне, заглянул в газету, спросил:

— Что там?

— Обращение Ленина к народу.

Оказалось, многие уже читали воззвание или слышали о нем. Завязалась оживленная беседа.

— А я-то думал — войне конец, замирились с немцем, примемся страну вызволять из нужды! — негромко говорил рабочий. — А видно, кой-кому мало еще людской кровушки.

— В Москве, между прочим, военное положение, — сказал мужчина с верхней полки.

Домна вскинула на него глаза. Мастеровой тоже посмотрел, приподняв бровь, ответил спокойно:

— Раскрыли военный заговор. Монархисты и эсеры кусаться вздумали.

— Что эсеры, что монархисты или меньшевики, — поддержал его солдат с костылем, — одна благодать. Продажные души.

Солдат из Маджи, свесившись с багажной полки, добавил:

— Знаем их! Выбьем зубы белогвардейской сволочи.

— Но это-то будет началом гражданской войны, — сказал мужчина с верхней полки.

— А она уже идет, гражданин.

— Не надо было разгонять Учредительное собрание, — назидательно сказал пассажир в сорочке навыпуск.

— А зачем оно нужно? Чтобы Керенский со своей братией уселся на нашем горбу?

— Между прочим, знаете ли, братцы, куда он девался, Керенский? — неожиданно сказал Ардальон Исаков с багажной полки.

— За границу сбежал, жену бросил и смылся с ее двоюродной сестрой. Свежинки захотел.

— Как же он смог сбежать?

— Обманул всех, собачья кровь! Переоделся в бабье платье, и был таков.

— В платье сестры милосердия, — уточнил пассажир в сорочке.

Все умолкли. Мужчины усиленно задымили цигарками. От крепкого махорочного дыму у Домны запершило в горле, и она закашлялась. Пассажир в сорочке сказал:

— Нельзя ли перестать курить, а то все мы тут скоро будем похожи на копченых сигов. Да и женщин надо уважать, наконец.

— Можно окошко открыть! — предложил раненый солдат, но интеллигентный пассажир запротестовал, испугавшись пыли. Продолжая ранее завязавшийся спор, он стал доказывать, что восстания и заговоры ни с того ни с сего не возникают.

— На все есть причины, — убеждал он. — И еще не известно, чем все кончится.

— Разгромом всей белой нечисти! — с силой сказал рабочий и тем погасил спор.

2

Поезд из Петрограда на Вологду шел медленно, со многими непредвиденными остановками в пути.

От Вологды до Вятки пассажирский состав тащился несколько дней. Это было мучительное путешествие.

О Вятке и Устюге Домна еще в детстве много наслышалась от матери. Усть-сысольские торговцы отсюда завозили разные товары и наживались на перепродаже вятских тарантасов, расписных дуг, венских гармоник, тальянок с бубенцами, валяной и кожаной обуви, детских игрушек, губных гармошек, дудочек с петушками, нарядных кукол, которыми так и не привелось Домне поиграть в детстве.

По пути Домна наблюдала разруху и запустение. Поезда двигались кое-как, подолгу задерживаясь на станциях. Не хватало людей, чтобы вести составы, не было исправных паровозов, топлива. С тоской видела она, как на станциях и вокзалах толкались поднятые голодом оборванные люди, раненые, бездомные сироты.

От Вятки до Котласа добираться было еще труднее. Но наконец и этот отрезок пути был преодолен.

В грязном, с разбитыми дощатыми тротуарами Котласе Домна несколько дней дожидалась парохода на Усть-Сысольск. Скудные запасы продуктов подходили к концу. Часть съела она сама, часть раздала голодным детям, которых везде было полно.

После тесного, шумного вагона со спертым воздухом путешествие на речном пароходе показалось ей настоящей прогулкой. Пароход «Социализм», миновав Северную Двину, не спеша поднимался вверх по Вычегде.

Погода выдалась теплая. Целыми днями светило солнце. Берега Вычегды были покрыты свежей зеленью тронувшихся в рост трав. Весело курчавился прибрежный ивняк, проплывали березовые рощицы, осинники. Но больше всего по берегам росло густых темных ельников. Они сменялись сосновыми лесами на крутых песчаных возвышенностях.

У одного из причалов пароход брал дрова, Домна наломала в овражке цветущей черемухи и вдруг почувствовала, что она уже дома.

Все чаще стали встречаться коми деревушки с зеленеющими полями и огородами на прибрежных косогорах, с раскиданными избами, иногда с каменной или деревянной церквушкой на видном месте. Здесь было все так знакомо, дорого и близко сердцу. И воздух какой-то особенный, свежий и чистый, пропитанный лесными запахами.

На том же пароходе ехал и Космортов.

В Котласе, ожидая парохода, Домна случайно встретилась со своим прежним хозяином. Космортов обошелся с ней сухо, даже не ответил на приветствие. Бросив хмурый взгляд на ее красную косынку, он отвернулся и зашагал прочь. На пароходе они снова столкнулись у куба с кипяченой водой. Космортов набрал в блестящий никелированный кофейник кипятку и поспешил удалиться в свою каюту. Иногда на палубу выходила его жена в компании с незнакомой Домне женщиной. Их обычно сопровождали два мальчика и девочка в матросских костюмчиках. Все они держались замкнуто.

Пароход, гулко хлопая по воде плицами колес, прошел живописнейшее место Белый бор. Остался позади Нижний Чов, где на высоком лесистом берегу в свое время построил себе дачу усть-сысольский купец Кузьбожев. Наконец из-за поворота выглянуло устье реки Сысолы, и затем стал быстро вырисовываться Усть-Сысольск — весь в зелени садов и рощиц, с крутой высокой соборной горой, с торчащей из-за деревянных крыш городских строений пожарной каланчой из красного кирпича.

Домна жадно всматривалась в наплывающую панораму знакомого города. Он был все такой же, каким она его оставила и каким видела иногда во сне в Петрограде. Но было в его облике и нечто новое. Она долго думала, что бы это могло быть, и вдруг поняла — флаги! Красные

флаги развевались на остром шпиле каланчи, в других местах города и на мачте белого пассажирского парохода, стоявшего у пристани, и от этого старый город казался помолодевшим.

Домне вспомнилось, как они с Проней и Мартыновым катались на лодке, как мать и сестра Аннушка провожали ее у пристани перед дальней дорогой. Вон с той горки они долго махали ей платками, пока не скрылись из виду. Она знала, что встречать ее никто не будет. Домна писала матери из Петрограда, что собирается выезжать домой. Если даже письмо дошло, откуда им знать, каким пароходом она приедет?

Подходя к пристани, пароход дал протяжный свисток, устало поработал еще колесами и остановился у причала. Матросы кинули чалку, подали трап, и с берега сразу же по нему поднялись на пароход несколько вооруженных красноармейцев. Началась проверка документов.

Проходя к трапу, Домна узнала Проню и крикнула:

— Проня! Чолэм, дружище!

— Вот здорово, кого встречаю! — расплылся в широкой улыбке Проня, крепко пожимая Домне руку. — Из Питера?

— Оттуда! Мамы моей не видал тут?

— Нет, не заметил. Но знаю: ждет она тебя, очень ждет.

Он помог Домне вынести с парохода ее вещи и предупредил:

— Подожди тут, я скоро вернусь! — и быстро застучал каблуками по трапу.

Пассажиров было не так много, и проверка документов быстро закончилась. Последними с парохода сошли Космортовы и чопорная женщина с детьми. Их сопровождали красноармейцы.

Проня подбежал к Домне и шепнул:

— Знатную птицу поймали!

— Какую?

— А тебе и невдомек, с кем ехала? Жена Керенского пожаловала к нам в гости.

— Вот как! Так, значит, это она с Космортовыми?! — вырвалось у Домны. Она с любопытством оглядела Керенскую.

— У нас в городе военное положение, — сообщил Проня. — Я потом все тебе расскажу, как освобожусь. Надо проводить задержанных. Отпрошусь и прибегу помочь тебе тащить вещи. Согласна?

У Домны вещей было не так уж много, смогла бы и сама с ними управиться. Но хотелось поговорить с Проней, расспросить о жизни в городе, о местных новостях. По всему видать, новостей немало.

— Подожду, — сказала Домна. — Только быстрее возвращайся.

— Я, как торпеда, одним махом!

Проводив глазами Проню, Домна сняла косынку, поправила волосы и только собралась присесть, как ее окликнули:

— Эй, добрая душа, девица-красавица! Лицо твое, сдается, мне знакомо. Иди, посиди у огонька.

Домна оглянулась. У костра сидел мужик и приветливо кивал ей.

«Кто бы это мог быть?» — подумала девушка и, захватив вещи, пошла к нему.

3

Русый мужик с плоским скуластым лицом сидел на обрубке дерева и курил самодельную трубку. Вид у него был усталый, нездоровый: скулы заострились, глаза глубоко запали. На пальце тускло поблескивало грубо сработанное медное кольцо.

— Не узнала, девица-молодица? — добродушно прищурившись, спросил мужик. — Значит, забыла уже. А я помню: сидели мы вместе на базаре, а ты читала нам листовку. Я подобрал ее после обедни на соборной горе.

— Листовку? Про войну?

— Так-таки вспомнила... Викул Микул я, с верховьев Вычегды. Чолэм да здорово, милая душа!

— Ой, прости, не узнала сразу!.. Здравствуй, дядя Микул! — протянула ему руку Домна.

— Садись к огоньку, вот сюда, на эту коряжину, — предложил Викул Микул, подтаскивая ближе к костру занесенную сюда еще во время ледохода лесину. — Что так поглядываешь на меня? Изменился?

— Сказать правду, изменился. Сколько дней утекло.

— Это верно, не гребень голову чешет, а время.

— Прихворнул? Или горе какое перенес? Исхудал ты очень, дядя Микул.

— Всякое было, милая. И ты, гляжу, тоже изменилась, только в хорошую сторону. Невестой стала, любо смотреть! А я постарел. Война, мор ее забери, не красит нашего брата.

— И тебя сгоняли на войну?

— Гоняли! Под конец всяких забирали. Держишься на ногах, значит, годен. Слава богу, живым вернулся.

— Далеко воевал?

— До Румынии доходил.

Домна собрала щепок и подбросила в огонь. Костер встрепенулся, запылал ярче. Светло-сизый дым, завихриваясь, иногда обволакивал

и ее, но она только слегка отмахивалась. Ей даже нравился горьковатый дымок. Видать, соскучилась и по нем. Было время, не раз вот так сиживала у костра — в страду, когда сено копнили, коров пасла, а то еще осенью, когда убирала картошку.

— Никак, снова плоты гнать нанялся, дядя Микул? — спросила Домна, проворно отбрасывая от себя стрельнувший из костра раскаленный уголек.

— Какие теперь плоты, — помешивая самодельной алюминиевой ложкой в котелке варево, вздохнул Микул. — Мы с сынишкой на лодке приплыли. Вон мой сынок. — Микул кивнул лохматой головой в сторону реки. Там, приткнувшись носом к берегу, стояла его лодка с поклажей, а около нее, закатав штаны, бродил по мелкой воде мальчишка лет двенадцати. Он собирал пестрые камешки, разноцветные стекляшки от бутылок.

— Привез конскую сбрую, сети. На хлеб менять буду. У нас там беда горькая, а не жизнь.

— Плохо с хлебом?

— Ой, плохо! Прошлым летом в верховьях Вычегды весь хлеб померз на корню.

— Как же вы живете?

— Так и живем, еле-еле. Пихтовую кору, солому сушим и толкем в ступе. Бабы на молоке замешивают и стряпают. Только от такого хлеба умирают многие, особенно детишки, ну и старики и старухи тоже.

— А что, нельзя купить хлеба?

— Откуда? По всей Вычегде народ голодает. Взять хотя бы село Усть-Нем. Там раньше всегда с хлебушком были, хорошо жили — луга и пашни у них лучше наших. А теперь и они давно сами пихтовую кору едят. Сами рады купить. Вот и ездим сюда, за сотню верст. Нужда заставляет...

Микул снова помешал в котелке варево, попробовал ложкой и брезгливо сплюнул:

— Тьфу, совсем пресная! Из сухой рыбы ушку решили с сынком сварить, да без соли и не еда вроде. Опротивела, в рот не лезет.

— И соли нет у вас?

— Нету. За что ни хватись, ничего нет, все подчистую подмели.

Домна быстренько развязала дорожный мешок и вынула соль, завернутую в чистую тряпицу.

— На, посоли, дядя Микул! Да возьми ложкой как следует быть, не стесняйся. Бери, бери, сколько надо.

— Не обидеть бы тебя, добрая душа. — Микул осторожно, чтобы и крупицы не уронить, взял ложкой щепотку соли из ее скромных запасов. Домна сама еще ему подсыпала.

— Ух, ты, сколько отвалила! Не скупишься, ласковая. Чего ж я тебе за это дам? Ничего-то у меня нет, — сказал Викул Микул.

— Ничего не надо. Я же, можно сказать, уже дома, теперь не погибну.

— Спасибо тебе сто раз. Попотчую сыночка настоящей ухой сегодня... Вот так и живем, милая: спичку надвое делим, чтобы дольше хватило. Бабы наши наловчились и без спичек: у кого печка топится, бегут с горшком за угольками. Всяко приходится изворачиваться. Трудно стало, — вздохнул Микул и предложил: — Давай уху хлебать. Сварилась, вку-усная! Эй, Петра, обедать! Хватит по воде лазить, ноги потрескаются.

К огню подбежал востроглазый мальчонка с русыми вьющимися волосами.

Отец снял с огня котелок, разложил на постеленной холстине ложки, хлебнул уху и от удовольствия затряс головой.

— Язык проглотишь... Большая ли щепотка соли, а какой вкус придает. Ешь, сынок, на здоровье! И ты, хорошая, нажимай... Откуда, девушка, приехала?

— Из Питера.

— Ух, ты! — раскрыл рот мальчик и про уху забыл на время. — Платок у тебя красивый! Тоже из Питера?

— Ага! Нравится?

— Красный, как огонь. Вон у парохода флаг тоже такой.

— Ешь, ешь, сынок, не вертись, — сказал отец и спросил у Домны: — Подзаработать ездила в Питер? Где там работала?

— На ткацкой фабрике. Закрылась, и пришлось домой вернуться.

— Выходит, и в Питере не сладко живется?

— Трудно стало... — И Домна начала рассказывать, как живут петроградские рабочие, как ей посчастливилось слушать Ленина.

На косогоре показался Проня.

— Э-эй! — еще издали крикнул он и бегом спустился к костру. — Не надоело меня ждать?

— Пока нет, — улыбнулась Домна. — Присядь, отдышись, а то вспотел даже.

— Бежал через весь рынок, собак переполошил, — поправляя на голове бескозырку с надписью «Гром», бойко отозвался Проня.

— Бери ложку, садись дохлебывать уху, парень, — предложил Викул Микул.

Проня пристроился к котелку. Упрашивать его не надо было. Наконец-то можно было отдохнуть.

— Никак, парень, в Красной Армии служишь? — поинтересовался Микул.

— Угу, — отозвался Проня и придвинул к себе котелок. — Остатки сладки. Все зачищу. Можно?..

— Зачищай, зачищай на здоровье! Сам был солдатом, знаю, — поощрял его Викул Микул.

Остатки ухи Проня выпил прямо из котелка. Викул Микул добродушно усмехнулся:

— На свадьбе твоей дождь будет лить, парень. Примета есть такая. Раскиснете с молодой-то.

— Ничего не будет, — утирая рукавом губы, возразил Проня. — А и помочит, не беда! Чай, не из глины, совсем на размокнем.

Он украдкой подмигнул Домне, но та сделала вид, что не заметила.

— Ну, как отвели «важную птицу»? — спросила она.

— Жену Керенского? Проводили куда следует. Там теперь знакомятся с ней.

— Жена Керенского приехала? — изумленно поднял брови Викул Микул. — Вот диво. Что же ей тут понадобилось?

— Тихой жизни ищет, — высказала предположение Домна. — Это сокровище Космортовы с собой привезли. Они старые знакомые. Жена Керенского и Космортова вместе учились, с тех пор и знакомы. Я работала у Космортовых горничной, и вот теперь вспомнила.

— А сам Керенский где? Почему не с женой?

— Он со своей свояченицей, говорят, за границу удрал, — передала девушка разговор, услышанный в вагоне. — Двоюродная сестра этой Керенской оставила ей свою дочку. Девочка, которая с ней, не родная ее дочка.

— Надо же так чудить! С жиру бесятся! — покачал головой Викул Микул.

— Ну их к лешему! — тряхнул вихрами Проня. — Попадись этот Керенский нам в руки, показали бы мы ему, где раки зимуют! Сколько крови по его вине пролито... У нас тут свое сражение было, — сказал он Домне.

— Сражение? Здесь? А ну, расскажи! — попросила девушка.

— Слыхала про имение купца Кузьбожева? В Чове оно, ниже города.

— Кто же не знает Кузьбожевых? По всей Вычегде известны. Каменный домина, магазин в городе, рядом со Стефановским собором, — сказал Микул.

Домна добавила:

— А в Чове у них было имение.

— С того имения и началось, — сказал Проня. — Городской Совет решил отобрать вотчину и разделить среди нуждающихся. У них же лучшие луга и пашни вокруг Чова. Но Кузьбожевский зять — офицер Горовой, эсерик недобитый, — пошел жаловаться в уисполком. А там левые эсеры засели. Они верховодили в ту пору в уисполкоме. Ну, ясно, что могло получиться: уисполком не разрешает. Наши кодзвильские, где больше голытьба живет, собрались ватагой, налетели на Чов, избили этого Горового, зачем тот сопротивляется, не дает делить земли своего тестя. Горовой — снова в город. Его друзья из уисполкома послали милиционеров охранять имущество Кузьбожевых. Начальник милиции арестовал кое-кого из кодзвильцев. Народ узнал, разъярился. Собралось человек триста. Пришли в город и силой освободили арестованных, разоружили милиционеров.

— Ну, и дальше что? — спросила Домна.

— Плохо могло бы кончиться, да из Архангельска на пароходе прибыл отряд красноармейцев. Отрядом командует военный комиссар Ларионов. В городе объявлено военное положение. Эсерики из уисполкома пытались с толку сбить Ларионова: дескать, народ против Советской власти поднялся. Ларионов, не будь дурак, потолковал с народом и понял, откуда ветер дует. Созвали чрезвычайное заседание городского Совета. Изгнали эсериков из состава уисполкома и ввели новых людей, которые за большевиков стоят. Только тогда жизнь в городе вошла в свою колею. Позавчера провели собрание сочувствующих коммунистической партии. Постановили организовать партийную ячейку. Матрос Андрианов, представитель военно-речного контроля, проводил это собрание. У него я вроде в помощниках здесь. И я записался в партию! — закончил свой рассказ Проня. Он полушутя, полусерьезно спросил у Домны: — А ты что, тоже в поисках тихой жизни приехала сюда? Прогадала, коли так рассчитывала.

— Нет, не ищу я тихой жизни. Но, признаться, такого не ожидала встретить.

— А теперь везде так, наверно, — рассудил Викул Микул. — Может, думаете — в нашем селе тишь и гладь да божья благодать? Какое там. Одни, вроде нас, новую власть подпирают, другие к старому гнут.

— Видела бы ты, как у нас тут уездный съезд Советов проходил, — сказал Проня. — Вот уж шумели. Постановили упразднить волостные земства, земскую управу. Чуть до драки не дошло. Съезд решил взыскать с городских купцов контрибуцию в миллион рубликов и на эти деньги закупить хлеба для голодающего населения. Купцы, известно, ерепениться начали, кое-кого в тюрьме пришлось подержать, чтобы спесь сбить. За неподчинение Советской власти посадили за решетку и самого Латкина. Знала его?

— Уездного агронома, что ли?

— Это он раньше был агрономом, а теперь

главарь правых эсеров, возглавлял уездное земство.

— Знаю его! — Домна вспомнила, как этот человек обошелся с ней у кирпичного сарая Гыч Опоня. — Пес он, хоть и гладенький с виду.

— Точно, гладкий, да вредный! — согласился Проня. — Эти купеческие сынки все такие, зубами за старое держатся. Знаешь, куда они со своими сторонниками на съезде гнули? Потребовали отделиться, чтобы, значит, свое государство сделать. Да не вышло по-ихнему. А теперь у нас своя партийная ячейка, и подавно им ходу не дадим. Сила теперь на нашей стороне, за народом. А ты, выходит, думала — у нас тут тихая заводь? — рассмеялся Проня. Он вскочил на ноги, приподнял мешок Домны. — О-о! А еще одна ладилась идти. Уморилась бы.

— Не впервые мне котомку таскать! — отозвалась Домна, собирая свои вещи. — Тронулись, что ли? Вон и солнышко к закату уже пошло.

— Шагом марш! Только помоги мне руки просунуть в лямку твоей котомки. Ух, ты! Не кирпичи ли уж везешь из Питера?

— Приданое свое! — усмехнулась Домна. Потом добавила уже серьезно: — Книги, журналы разные. Приохотилась я там читать.

— Это хорошо, — сказал Проня.

Они попрощались с Викул Микулом, ласково потрепали его сынишку за русые волосы и, оживленно разговаривая, зашагали по городу в сторону Вильгорта.

Перевод автора с коми под редакцией Л. Жарикова

Окончание следует

Геннадий Александрович Федоров

КОГДА НАСТУПАЕТ РАССВЕТ

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор П. АГЕЕВ

Художественный редактор *Г. Андронова* Технический редактор *Л. Платонова*
Корректоры *Р. Андрианова* и *М. Муромцева*

Сдано в набор 28. II 1967 г. Подписано к печати 1. IV 1967 г. А 02525. Бумага 84×108$^{1}/_{16}$. 5 печ. л., 8.4 усл. печ. л., 9,82 уч.-изд. л. Заказ № 876. Тираж 3 000 000, 4-й завод: 1 700 001 — 2 450 000 экз.
Цена 20 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц типографии № 1 «Печатный Двор» в комбинате печати «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2. Зак. 02092.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"

ИХЛ

ВЫШЛИ В СВЕТ

ИВО АНДРИЧ. Проклятый двор. Повести и рассказы. Перевод с сербскохорватского. Предисловие Е. Книпович. М. 1967. 548 стр. 1 р. 68 к.

ВИСЕНТЕ БЛАСКО ИБАНЬЕС. Хутор. Кровь и песок. Переводы с испанского. Вступительная статья З. Плавскина. Л. 1967. 484 стр. 93 к.

ЛЕОНИД ЛЕНЧ. Трудная служба. Сатирические и юмористические рассказы. Предисловие У. Гуральника. М. 1967. 366 стр. 56 к.

МИХАИЛ ЛЬВОВ. Живу в XX веке. Избранные стихотворения. М. 1967. 302 стр. 46 к.

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ. Байга. Стихи. Перевод с казахского. Вступительная статья Такена Алимкулова. М. 1966. 152 стр. 29 к.

РАФАЭЛЬ ФЕЛИПЕ МУНЬОС. Смертельный круг. Избранное. Рассказы и повесть. Перевод с испанского. Составление и предисловие И. Винниченко. М. 1967. 270 стр. 78 к.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Казаки. „Народная библиотека". Вступительная статья Л. Опульской. М. 1967. 182 стр. 27 к.

20 к.

ч. 2

ИХЛ